

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал

3



2014

НАЧАЛО ВЕКА 2014/3

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Выходит с января 2007 года

ИЗДАНИЕ ТОМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Главные редакторы:

Геннадий СКАРЛЫГИН
Владимир КРЮКОВ

Редколлегия:

Александр КАЗАРКИН
Галина КЛИМОВСКАЯ
Вениамин КОЛЫХАЛОВ
Валерий МАРКОВ
Валерий СЕРДЮК
Николай СЕРЕБРЕННИКОВ
Николай ХОНИЧЕВ
Сергей ЯКОВЛЕВ

Адрес редакции:

634050, г. Томск,
ул. Шишкова, д. 10.
Тел. 528-369.
E-mail: tooooospr2013@yandex.ru

Электронная версия журнала:

<http://lib.tomsk.ru>

При перепечатке материалов
ссылка на журнал «Начало века»
обязательна.

Мнения авторов не обязательно
совпадают с мнением редакции.

На обложке:

работа

Ивана Панаркина

Журнал выходит при поддержке
Администрации Томской области

В НОМЕРЕ:

КЛЮЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Алексей КАЗАКОВ

Клюев – имя собственное 2

ПРОЗА

Сергей МАКСИМОВ

Модель (глава из романа
«Снег Матисса») 11

Николай ТОЛСТИКОВ

Державные братья 20

Леонид КИРЧИК

Маленькие истории 28

ПОЭЗИЯ

Александр ЛУГОВСКОЙ 39

Анастасия КОШЕЧКО 42

Марина НИКИТИНА 45

Николай КОНИНИН 47

ПРОЗА

Дмитрий ИВАНОВ

Гуси-лебеди 49

Леонид ШЕЛУДЬКО.

Через две смерти 59

ПАМЯТЬ

Анатолий МАСТЕРЕНКО 86

ПОЭЗИЯ

Юрий КЛЮЧНИКОВ 89

Милан ВУКОВИЧ 96

Александр ПАНОВ 100

Ирина ЯБЛОКОВА 102

Наталья ЛАПТЕВА 107

ПРОЗА

Юрий КАНУРИН

На свадьбе 114

ПУБЛИЦИСТИКА

Борис БЫЛИН

Братания в годы
Первой мировой войны 132

КРАЕВЕДЕНИЕ

Галина КОЛОСОВА

Воительница-сибирячка 136

Геннадий ЗАЛЕСОВ

П.И. Макушину – 170 лет 153

АВТОРЫ НОМЕРА 156

Алексей КАЗАКОВ

КЛЮЕВ – ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

Каждая встреча с поэзией (включая и прозу) Николая Клюева – это погружение в «поддонный» слой языковой стихии, царствующей вширь и вглубь. Клюевский поэтический этнос столь загадочен и богат, что его приходится постигать годами, десятилетиями, а потомкам останутся века.

Один только хоровод имен собственных насчитывает у него более двух тысяч. И каждое из них то отдаляется, то приближается, наполняя стих-прозу новым смыслом.

Свою Книгу Жизни поэт складывал из впечатлений детства, где в «тишине избуной» звучали песнопения его незабвенной матушки Парасковьи Димитриевны. «...Родительница моя была садовая, а не лесная, во чину серафимовского православия. Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на ней птица в жемчужном оплечье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трем звездам, что на богородичном платке пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветет знаменый, крюковой, скрытный, столбовой. ...Памятовала она несколько тысяч словесных гнезд стихами и полууставно, знала Лебедя и Розу из Шестокрыла, Новый Маргарит – перевод с языка черных христиан, песнь искупителя Петра III, о христовых пришествиях из книги латинской удивительной, огненные письма протопопы Аввакума, индийское Евангелие и многое другое, что потайно осоляет народную душу – слово, сон, молитву, что осолоило и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни...», – вспоминал Клюев в пору своей творческой зрелости. И добавлял: «Все, что писал и напишу, я считаю только лишь мысленным сором и ни во что почитаю мои писательские заслуги. И удивляюсь, и недоумеваю, почему по виду умные люди находят в моих стихах какое-то значение и ценность. Тысячи стихов, моих ли или тех поэтов, которых я знаю в России, не стоят одного распева моей светлой матери». Как говорила родительница поэта: «В тебе, Николаюшка, аввакумовская слеза горит, пустозерского пламени искра шает. В вашем колене молитва за Аввакума застойной была и праотеческой слыла. Как сквозь сон помню, поскольку ребяческий разум крепко, приходила к нам из Лексинских скитов старица в каптыре, с железной пангией на персях, отца моего Митрия в правоверии утверждать и гостила у нас долго... Вот от этой старицы и живет памятование, будто род наш от Аввакумова корня повелся...».

Автобиографическая проза поэта «Гагарья судьбина» впитала все основные житейские коллизии словотворца, «олонецкого Лонефелло», как он сам себя называл.

С потаенных книг русских сектантов-раскольников и еретиков начинался литературный путь, а точнее, литературная тропа «песнописца Николая», ведущая от склонов Андомы-горы в родном Вытегорье. Подобные сборники «слов и поучений» долго сопутствовали молодой страстной душе в бесконечных скитаниях по древнерусским монастырям и святым местам России, соседствуя с куском хлеба в дорожном сундучке. Житейские начальные вехи поэта: дом деда Тимофея в Вытегре, изба родителей в Коштугах и Макачеве, отроческие годы в Соловецком монастыре, паломничество в столицы – Петербург и Москву, участие в революционных событиях 1905-1906 годов, тюремная отсидка за прокламации и «апостольские речи» в губернской камере в Петрозаводске, встреча с издателем В.С. Ми-

ролюбовым и первые публикации в журнале «Трудовой путь», переписка и личные встречи с А.А. Блоком, выход первых поэтических книг «Сосен перезвон» (1911) с посвящением: «Александру Блоку – Нечаянной Радости» и «Братские песни» (1912)...

Языковая сила ключевских «Песен из Заонежья» вызвала «трубный гром» в столичной и провинциальной прессе: появились десятки восторженных рецензий. Мужик-поэт восхищал знатоков и утонченных ценителей словесного искусства. «Пафос поэзии Ключева – редкий, исключительный. Это пафос нашедшего», – замечал Н. Гумилев.

Характерна самооценка Н. Ключева, высказанная им в 1919 году: «Ясновидящий народный поэт, приковавший к себе изумленное внимание всех своих великих современников. Сын Олонецких лесов, потрясший словесным громом русскую литературу. Рабоче-крестьянская власть не преминула почтить Красного баяна, издав его писания наряду с бессмертными творениями Льва Толстого, Гоголя и т.п.».

Поэтические монологи Ключева пели славу одухотворенной природе с ее «тайной тихой поддонной».

«Я думаю, что священный сумрак гумна не менее священен, чем сумрак готических соборов», – признавался Николай Алексеевич (1923).

Поэт-сказитель, выступая против «лампадного православия» официальной церкви, нес в народ «открытую религиозность» пантеизма, призывая ставить свечи «мужицкому Спасу» – «Богу хлебному» с ликом пшеничным и «брадою солнцевласой», где даже православные святые Борис и Глеб толковались как святые-пахари, так и говорилось: Борис-хлебник. Народная мифология северного Поморья в полный голос прозвучала в строфах Ключева, рожденных благодарной наследной памятью о крестьянской избе и русской печи:

*Олений гусак сладкозвучнее Глинки
Стерляжьбы молоки Верлена нежней,
А бабкина пряжа, печные тропинки
Лучистее славы и неба святей.*

Описывая через народный уклад-быт духовную среду русского крестьянина, поэт понимал, что душа человека и «изба – святилище земли» есть единое целое (позднее бесы революции и классовой междоусобицы разом покончили и с душой, и с избой России...).

Самородное словотворчество Н. Ключева вызывало жгучий, неподдельный интерес в столичных салонах и литературных кружках. «Литературные собрания, вечера, художественные пирушки, палаты московской знати... мололи меня пестрыми жерновами моды, любопытства и сытой скуки», – вспоминал Ключев о своих хождениях по столицам. Характерно, что его поэтический дар высоко ценили поэты-современники, далекие от ключевской духовной ориентации и манеры письма: А. Блок, В. Брюсов, А. Ахматова, Н. Гумилев, Г. Иванов, З. Гиппиус...

Так, Н. Гумилев пророчески предсказал «возможность поистине большого эпоса» в творчестве Ключева еще в 1912 году.

Последующие сборники поэта – «Лесные были» (1913), «Мирские думы» (1916), «Песнослов» в двух книгах (1919), «Изба и поле» (1928) – выдвинули Н.А. Ключева в лидеры целого эстетического направления в отечественной литературе, получившего название: новокрестьянская поэзия. В русле этого понятия складывалось и позднейшее творчество русских поэтов: Сергея Есенина, Алексея Гатова, Петра Орешина, Александра Абрамова (Ширяевца), Сергея Клычкова, Василия Наседкина...

«Я же ишу в людях лика и венца над головой... Лику клянюсь и венца трепещу. Так и живу, радуясь тихо... Да знаменуется и на мне грешном свет от Лика Единого», – утверждал Ключев (1922).

Особая глава творческой биографии Ключева – сложные взаимоотношения с Сергеем Есениным. Целое десятилетие (1915 – 1925) длилась та непростая дружба, отразившаяся в обоюдных письмах, стихах-посвящениях, личных встречах. И как итог – былинный «Глач о Сергее Есенине» (1926), написанный Ключевым после внезапной гибели младшего товарища в декабре 1925 года.

В начале 30-х годов в печати развернулась травля Ключева и других «крестьянских» поэтов, чей путь, во многом по причине литературных доносов-рецензий, завершился в 1937 году в подвалах Лубянки и лагерях советского ГУЛАГа. Новейшие писатели-пролетарии,

призывавшие с первобытным инстинктом варваров сжечь Рафаэля во имя прекрасного завтра, считали поэзию Клюева «апологией идиотизма деревенской жизни» (А. Безыменский, 1934), понимали его стихи как «как власть кулачью, построенную на Богом данной природе» (О. Бескин, 1930).

Отвергая неистовую пошлость пролеткультовской и напостовской критики, Клюев прислушивался лишь к собственному внутреннему голосу, говоря сокровенное: «Слушал Россию, какой она была 60 лет тому назад, и про царя и про царицу слышал слова, каких ни в какой истории не пишут, про Достоевского и про Толстого – кровные повести, каких никто не слышал... удары Царя-колокола в грядущем... парастас о России патриархальной к золотому новоселью, к новым крестинам... В углу горницы кони каким-то яхонтовым, вещим светом зарились, и трепыхала большая серебряная лампада перед образом Богородицы» (1925).

Это и о себе Николай Алексеевич сказал: «А стая поджарых газет скулила: кулацкий поэт!». В ответ своим доморощенным критикам Клюев писал в 1932 году:

*Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню,
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита,
Вы не дали и пригоршни овса...*

Но «олонецкий ведун» продолжал жить, творить в грозовой тиши свой «огнепалый стих», высшим проявлением которого стали его поэмы «Мать-Суббота», «Заозерье», «Деревня», «Погорельщина», «Разруха», «Песнь о Великой Матери», «Соловки», – поэмы, составившие истинный эпос своей эпохи, изустную память о том, как «кровью рудеют России уста»... Но одновременно то был и эпос веры поэта в то, что «Россия, как Божья мысль, осталась великой» – в ней сокрыты «неистребимое онтологическое ядро», философия надежды на обретение духа из праха погорельщины...

Клюев все время пытался докричаться в своих стихах до сознания «пригвожденной России», он предупреждал о грядущей Разрухе «под скрип иудиной осины». Но бесконечная тревога олонецкого прорицателя, вестника близкой беды, не была услышана русским народом...

Сгинувшие стихи, еще только вызревавшие поэмы Клюева «Кремль», «Нарым» и другие вещие строки – свидетельство стоического упорства художника, пытавшегося сохранить человеческий облик в трагических обстоятельствах бытия-безвременья. Это еще раз подчеркивает мысль о том, что «культура творится в исторической жизни народа. Не может убогий, провинциальный исторический процесс создать высокой культуры...» (Г.П. Федотов. «Лицо России»).

В живом контексте той культуры всегда будет слышен лироэпический голос Клюева – «первого народного поэта нашего, первого, открывающего нам подлинные глубины духа народного» (Р.В. Иванов-Разумник).

В начале 1934 года поэта арестовали органы ОГПУ (после очередного печатного доноса в «Литературной газете»). Произошло это в Москве при прямом идеологическом участии редактора «Известий» И. Гронского (позднее возглавлял журнал «Новый мир»), И. Сталина и Г. Ягоды, санкционировавших арест поэта. Протокол допроса сохранил мужественный ответ Клюева следователю, хотя в том протоколе ощущается и определенная нота провокационности (инспирированный подгон под очевидный ответ, известная практика советской охраны того времени). «Я считаю, что индустриализация разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей... Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая Коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение...», – говорится в том протоколе допроса поэта. Среди прочего в вину поэту ставились его публичные чтения поэмы «Погорельщина», подлинный реквием по гибнущей России. Как и то, что поэт, стоя в Москве на церковной паперти, собирал милостыню от своих почитателей...

Этапирован он был в Томскую область, в Колпашево, откуда писал С. Клычкову: «Я сгорел на своей Погорельщине, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском».

Вскоре, благодаря хлопотам М. Горького и певицы Н. Обуховой, Ключева перевели в Томск, «на целую тысячу верст ближе к Москве». О своей ссылке поэт писал: «Люди здесь люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна. Я очень слаб... Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон березовой почки, когда она просыпается от зимнего сна».

В марте 1936 года Ключев был вновь арестован в Томске как «участник церковной крестьянской группировки (провокация Томского НКВД, придумавшего мифический «Союз спасения России»». Поэт не признал себя виновным. В марте 1937 года он еще успевает послать на волю последнее стихотворение «Есть две страны: одна – Больница...».

Сбылись его пророческие сны-предчувствия о «земле прокаженной», покинутой святыми Русской земли. Испытав на себе «проказу карфагенскую», поэт «чудных струнных звуков» прошел есенинским жертвенным путем, сживаясь с мукой молчанья еще не услышанной песни, что «тихо играла в груди». Это из ключевских ясновидческих снов те грезы: «Стал к окну, и в лицо мне горний свет бьет. Обернулся – не одна, а три девки позади меня на лавке сидят... Прядеи они, нитки прядут, прялицы крашенные и веретена со звоном. Не опомнился я, нитками весь запряден... Перерезали мне нитки горло, как петля удавная, и умер я в единый миг, плоть девкам оставя, а сам же лебяжьем летом лечу над великим озером. Тихи и безбрежны воды озера, вечная заря над ним, о которой поется «Свете тихий» по церквам русским. Паруса безмятежные в заре, в воздухах и в водах. Лёт лебединый во мне и стихира в памяти:

*Парусами в онежской хляби
Загляделся царьградский закат!*

Но сон аспидный одолел сон блаженный: «Завтра казнь... Безысходна тюрьма и не вылизать языком белых букв на черном аспиде...».

13 октября 1937 года «тройка» приговорила Ключева к расстрелу, спустя несколько дней (в ночной час его 53-летия) поэт был расстрелян с очередной партией заключенных: конвейер смерти не справлялся с потоком жертв, их учет велся не персонально, а по могильным ямам, когда отмечался лишь срок их заполнения...

Могила поэта до сих пор не известна. Миновав житейские версты, он, «человек вселенского сознания» (вспомним мысль Достоевского), последний Боян Руси, умер, как «зола в печурке», без чаемого «малинового погоста» в родной северной стороне...

Нарымская смертная обитель не сломила дух поэта, дав ему твердую уверенность в том, что:

*Русь нетленна, и погостские кресты –
Только вехи на дороге красоты!*

Еще в конце 20-х годов Николай Ключев писал с аввакумовской грозовой нотой отчаянья: «Расскажите им, песни, что заросли русские поля плакун-травой невылазной, что рыдален шум берез новгородских, что кровью течет Мать-Волга, что от туги и скорби своего панцирного сердца захлебнулся черной тиной тур Иртыш – Ермакова братчина, червонная сулея Сибирского царства, что волчьим воем воют родимые избы, замолкли грановитые погосты и гробы отцов наших брошены на чумных и смрадных свалках. Увы! Увы! Лютой немочью Великая, непрошенная и неприкаянная Россия» (1929).

И все же вещие птицы Севера успели разнести по белу свету «многопестрые колдовские свирели» ключевских мирских песен, слявлящих Русь-Китеж. Из глубин истории они были освящены летописным гласом Лазаря Муромского, земляка поэта: «Аз же слышал от уст его таковыя, возрадовахся радостию великою и пад поклонихся ему и отыдох с миром, и хвалих Бога моего от всего сердца... Аз же страдальческим венцом увязался и воспомянух писание: многим бо волнам к камени приражающимся...».

«Олонецкий Лонгфелло» слагал свои строки о «гагарьих туманах» и «златоглавых Кихах», образуя стройный «терем красок». Славословя Русь-Олонию, Русь-Китеж, Ключев взывал к заповедным тайникам души человеческой, веруя в силу и святость поэтического образного слова, что способно еще собрать «золоторунную тишь»...

Лирический песнослов Николая Ключева согреет благодатным теплом «жданного дня» летней полной красы, зримой будущности Нечаянной Радости «путеводных уз». Художник,

«уразумевший единую душу во всем», Клюев и в своих размышлениях выражал философское состояние творчества, говоря: «Не перейти за черту человеческой речи – подвиг великий, для этого нужно иметь великую душу, а главное, веру в жизнь и благодаренье за чудо бытия – за милые лица, за высокие звезды, за разум, за любовь... Но я слушаюсь жизни, того, что неистребимо никакой революцией, что не подчинено никакой власти и силе, кроме власти жизни».

И голос Евгения Баратынского из XIX века как бы вторит этому душевному состоянию:

*Не ослеплен я музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленную толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необыим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почитит небрежной похвалой.*

«Клюев – пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя», – писал О.Э. Мандельштам о природе клюевского дара («Письмо о русской поэзии», 1922).

Резьба ветхого деревенского ставня, узорчатый шеломок кровли, бирюза небесная и крик отлетающих журавлей – все это пленяло и вдохновляло олонецкого ведуна, сказавшего о себе:

*Устами моего сердца
Поют небо и земля...*

Вот и близкому по духу Николаю Гумилеву он надписал свой сборник «Сосен перезвон» с убеждающей верой: «...Мы войдем для общей молитвы на хрустящий песок золотых островов».

Такой общей молитвенной соборной радостью стали и клюевские братские песни-сказания. Они – зримое доказательство, пример неистребимого «всеславянского писания» русского народа: от протопопа Аввакума до Клюева и Есенина, Шукшина и Рубцова...

Как возглашал с огневой истовой верой-пророчеством великий духом предок поэта из своего Пустозерского заточения-узилища: «...И вы, Господа ради, чтущии и слышашии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык... Я и не брегу о красноречии и не унижаю своего языка русского».

Блистаньем своевольным отмечен и лирический русский стих Н. Клюева в неувядаемом цвете его «полевой яблони-песни, чьи цветы плащаницы духмянней».

Не от таких ли песен происходит душевное обновление и очищение сердца?..

Колосится новое семя «в живых веках», как и предрекал поэт: «И вспомнит нас младое племя на песнотворческих пирах». Пророческий лик Николая Клюева отображен в вечной красе простой русской радости – Природе:

*Цвету я, как луг, изьяными коньками,
Улыбкой озер в песнозвонной тиши...*

И по-прежнему захватывает дух наш от слышимой «изглаголанной музыки» клюевских песен-пчел – «солнечных и золотых».

Неувядаемым цветом, вечно зеленеющей вехой ожил сегодня благодатный поэтический мир художественных образов поэта.

Вновь над отчей Андомой-рекой, что близ родительского погоста Ключевского Вытегорья, «по Онегушке шумливой» звучат свирельные звуки олонцкого ведуна, слагавшего еще на заре XX века свою заветную святорусскую северную бывальщину...

Как писал о нем Ф. Абрамов: «...Ключев... был сложным явлением, без которого не понять двадцатые годы, культуру XX века»:

*Где скрылся он – тот огнепалый стих?
Он где-то в нас – под нашей тайной клетью.
Знать, так живуч смиренный тот жених –
Сей Аввакум двадцатого столетья!
Он сам себе был жертва и судья.
Он крепко спит – крамольник из Олонца,
Но этот крин, та звонкая струя
Из тех лесов, где столько тьмы и солнца.*

.....
*Пуškai придут и вспомнить и почтить,
И зачерпнуть из древлего колодца...
Мы так его стараемся забыть,
А все забыть никак не удается¹.*

Истинно так! Нет, не погибла «наша русская правда», презрев «железное быдло» чугунно-бетонных пролеткультов. Философским умиротворением веет от ключевского убеждения-истины: «Не железом, а красотой купится русская радость». Еще слышен «далеко по синим поречьям благодатный Печерский звон»:

*Мы – ржанные, толоконные,
Знаем Слово алатырное,
Чтобы крылья громобойные
Вас умчали во всемирное
Там изба свирельным шоломом
Множит отзвуки павлиные...
Не глухим, бездушным оловом
Мир связать в снопы овинные.
Воск с медынью яблоновою, –
Адамант в словостроении,
И цвести над Русью новою
Будут гречневые гении.*

После таких стихов ясно понимаешь: жива Русь-Китеж древлего светлоярского письма, жива «лебедь-Россия» на своих родных синезерьях!

Прав был поэт своей родовой песней-молитвой, в коей провещал: «Да славятся уста солнца и сосцы матери-ковриги. Хлеб победит!».

Звучать той песне «от велика Новгорода» до «Обонежская пятины погоста Пятницы Парасковии усадища Соловьевой Горы», на просторах которых «песельник Николашка по назывке Ключев славу пел, участлив поклон воздавал».

Вдохновляясь теплом печи отчего дома и преклоняясь «перед мужицким мозольным лаптем», Николай Ключев разворачивал свою жизнь художника, странника, правдолюбца «от избы до дворца, от песни за навозной бороной до белых стихов в царских палатах»,

¹ Стихи Николая Тряпкина.

воскликая проповедным словом: «Не изумляясь, но только сожалея, слагаю я и поныне напевы про крестные зори России. И блажен я великим в малом перстами, которые пишут настоящие строки, русским голубиным глазам Иоанна, цветущим последней крестной любовью...» («Гагарья судьбина»):

*Я песнописец Николай,
Свидетельствую, братья, вам!*

Не в этой ли стиховой Литургии Поэта слышится нам его земное верование, утверждающее саму Жизнь, явленную в негоревших рукописях:

*Он жив, олонецкий ведун,
Весь от снегов и вьюжных струн
Скуластой тундровой луной
Глядится в яхонт заревой!*

К какому канону восходит этот поэтический глас? На каком Афоне Русского Севера произросли глаголы-бессмертники «олонецкого Лонгфелло», ставшего поэтическим Сфинксом России, ее вечным легендарным мифом?..

«У меня не мера какая-нибудь и не свирель, как у других поэтов, а жернова, да и то тысячепудовые. Напружишь себя, так, что кости затрещат, – сдвинешь эти жернова малость. Пока в движении камень, есть и помол – стихи, приотдал малость – и остановятся жернова, замолчат на год, на два, а то и больше. Тяжел труд мельника», – признавался поэт в сокровенную минуту.

«Никогда взыскиющие града не переведутся на Руси», – истина, напрямую объясняющая духовный опыт Клюева. Он был из тех редких русских людей, подвижников-прорицателей, кому было дано слышать потаенный звон колоколов затонувшего Китеж-града. Поэт был настоящим китежанином среди окружавшего его пролеткультовского колхозного ора-разгула...

Китеж – образ, проходящий по всей русской истории. Под символические воды Светлояра ушли не только жители непокоренного града: старики, женщины, дети. Китежанами стали через столетия русские раскольники, начиная с легендарного протопопа Аввакума, интеллигенты-разночинцы, философы, художники, писатели. Все они создавали, как противостояние, свой Град, в пространстве которого протекало жизнетворчество личности:

*Дымилась водь, скрипела гать,
Всё прибывали китежане...*

Для Клюева Русь-Китеж не только метафора чисто литературного свойства, но, прежде всего, основное свойство личности Бытия – ежечасное, ежедневное ощущение собственной поддонности житийного существования. Как о том написал другой русский поэт-китежанин:

*И меркнет, стихая, мерца,
Немыслимой правды преддверие –
О таинствах Русского края
Пророчество, служба, мистерия.
Град цел! Мы поём, мы творим его,
И только врагу нет прохода
К сиянию Града незримого,
К заметной святыне народа ².*

Символический знак Китеж-града занимает далеко не последнее место в частотном словаре Клюева-поэта, став градообразующим мифонимом-топонимом во всем его худо-

² Стихи Даниила Андреева из цикла «Святые камни» («Большой театр. Сказание о Невидимом граде Китеже»).

жественном наследии. Как ключевой образ, топоним КИТЕЖ раздвигает границы (достаточно условные) имени собственного, вырастая до обобщенного образа всей Древней Руси (вспомним клюевское признание: «Русь не вместить в человечьи слова...»). Помня о первоначальном значении слова-понятия (*Китеж – сторожевой, хранимый*), Клюев трансформирует легенду о чудесном спасении в водах Светлояра града Китежа времен нашествия Батыя в современную ему явь-быль эпохи послереволюционных лет советской России. Спасая от видимого недруга-врага свой поэтический Китеж со всем наследием святоотеческих ценностей и реликвий, поэт утверждает: «Уму – республика, а сердцу – Китеж-град». А в «Песне Гамаюна» (1934), насыщенной апокалиптическими видениями-пророчествами, Клюев воссоздает царство Антихриста, в котором вместо Града Грядущего новый революционный мир пленного народа русского, взятого в рабский полон:

*То Китеж новый и незримый,
То беломорский смерть-канал...*

Строя сакральное пространство Китежа, поэт видит в нем свое духовное родословие, идущее от «китежских ворот». В эпической «Песни о великой матери» он в нескольких строках показывает исток своего свирельного слога:

*В самосожженческом уезде
Глядятся звезды в Светлояр, –
От них мой сон и певчий дар!*

И в том вещем сне слышится слово поэта: «Мой же мир, Китеж подводный, там все по-другому. Рассказывая про тайны этого мира, я со страхом и трепетом разгребаю словесные груды, выбирая самые точные образы и слова для выявления поддонной народной правды. Ни убавить, ни прибавить словесной точности я не дерзаю, считаю за грех. Самоцветный поддонный ум может быть судим только всенебесным собором».

Стих-вера, стих-поверье, молитвенное очищение, просветление, преображение – таков духовный глас человека-китежанина, утверждающего выстраданную мысль: «Спасешь себя – вокруг спасутся тысячи» (Ф.М. Достоевский).

«Я подавлен величиной данной мне глыбы – она подобна утесу...», – передавал Клюев внутреннее ощущение собственного избранничества в одном из ранних писем к Брюсову (1911).

Отзвуком-молвой заветной Книги Жизни поэта звучат строки рун «Калевалы» – карело-финского народного эпоса, столь близкого сердцу Клюева:

*Мне пришло одно желанье,
Я одну задумал думу, –
Быть готовым к песнопенью
И начать скорее слово,
Чтоб пропеть мне предков песню,
Рода нашего напевы.*

Земной космизм поэзии Клюева-рунопевца невольно подводит нас к мысли о том, что он был на этом свете в роли русского Бога-ведун³, который все про всех знал...

Здесь уместно такое глубинное понятие, как *Богословие Поэзии*. Для Клюева оно очевидно. Оттого его ранние «Мирские думы» воспринимались христолубивым народом как священные песнопения-псалмы и разносились тысячеустно окрест всея Руси...

Равно справедлива и такая моя мысль: русская литература родилась с появления «Слова о полку Игореве», а завершилась лиро-эпической поэзией Клюева. Вокруг этих художественных столпов – частности больших творческих откровений.

³ Понятие «русские Боги» ввел в обиход отечественной культуры Даниил Андреев, знаменательно упомянувший в своем трактате «Роза мира» имя Николая Клюева.

Да, он ведал, что творил на этой земле, обладая способностью жить одновременно в разных мирах, преодолевая время. По дорогам мировой цивилизации поэт-Мессия – этот русский Нострадамус – так же легко и свободно ходил, как по близким ему деревням Андомы-реки. Со своим былинным батожком-посохом Ключев прошагал из дома в дом, из деревни в деревню, из одной части света в другую, из своего XX столетия в небывало отдаленные времена Античности и Средневековья, включая и планетарные миры (причем осмысленные в реальном пространстве обычной деревенской избы, – вспомним кодовую ключевскую строку «изба – святилище земли»):

*Русь течет к Великой Пирамиде,
В Вавилон, в сады Семирамиды...*

.....
*Над Богдадом по моей кончине
Заширяют ангелы крылами.*

«Чувствую, что я как баржа пшеничная нагружен народным словесным бисером. И тяжело мне подчас, распирает певческий груз мои обочины, и плыву я как баржа по русскому Ефрату – Волге в море Хвалынское, в персидское царство, в бирюзовый камень. Судьба моя – стать столпом в храме Бога моего и уже не выйти из него пока не исполнится все», – прозвучало исповедальное ключевское слово.

Повторюсь: список имен собственных в произведениях Ключева – огромен! Поэт выстраивал их подобно Нерушимой Стене. Казалось, он все объял и осмыслил от Авраама, Адамовой травы, Алконоста-птицы и Анзерского скита до Звездотечной Коляды, Лидда-града, Лопского погоста, Мужичьего Спаса, Олонецкого бора, Повенца, Пролеткульта, Рублевской Руси, Шестокрыла, «Свете тихого»...

И в сонме этих знаковых имен имя самого Ключева не затерялось, став еще одним символом Святой Руси наряду с летописными сводами-памятниками, иконописными ликами Андрея Рублева, храмовыми фресками Дионисия и многовековой природной красотой увалов Андомы-горы, что стоит надежным береговым стражем вдоль величавого Онега – «чаши гагарей, ее удолья»...

И, как последнее признание, стих, утверждающий веру Поэта в собственное имя предназначение:

*Я – посвященный от народа,
На мне великая печать,
И на чело свое природа
Мою прияла благодать.*

Этой приавшей ключевской благодатью и спасается русская речь-слово от забвения.

Сергей Максимов

МОДЕЛЬ

Глава из романа «Снег Матисса»

Тёплый и ласковый средиземноморский ветер плавно раскачивал пронизанные солнцем тюлевые занавески. В гостиной, выходящей застеклёнными дверями на балкон, негромко беседовали трое: известный художник Матисс, его постоянно недомогающая, шестидесятилетняя жена Амели и её сиделка-компаньонка – мадам Лидия. Сиделка, хорошенькая, молодая женщина из русских эмигранток, скорее слушала, чем говорила, изредка тихо и благозвучно отзываясь смехом на шутки хозяина дома. Она едва-едва начинала свободно говорить по-французски и как ребёнок радовалась, когда теперь понимала не только речь говорившего человека, но и юмор им сказанного.

– Мадам Лидия, не шевелитесь, – вдруг грозно сказал мастер и, привстав со стула, повернувшись в пол-оборота, выхватил лист бумаги из целой стопки листов, лежавших на столике рядом.

Лидия, не особенно удивившись резкости, с которой была сказана фраза, покорно застыла в привычной и естественной для неё позе. Левое предплечье на спинке стула, локоть другой руки перпендикулярно предплечью. Кисть лежащей руки расслабленно повисла в воздухе. В изящных пальцах кисти руки другой оказался овал лица в обрамлении белокурых волос. Женщина точно продолжала слушать только что прерванный, неторопливый разговор двух супругов. К удивлению Матисса, она сохранила даже улыбку в рисунке красивых губ.

Обычно художники долго мучают натурщиц, выстраивая позу для позирования, чтоб потом ещё дольше тиранить требованием не шевелиться. Мастер признавался, что и он был таким, когда был молод. Но теперь всё изменилось. Позы персонажей на своих холстах пожилой художник больше не выдумывал и не создавал. Он их искал и находил в жизни. И сейчас, в который раз за последний месяц, удивлялся тому, как проглядел рядом с собой такую одновременно податливую, чуткую и при этом естественную в любой позе модель. Модель, которая, к тому же без видимых усилий, надолго фиксировала любое положение тела на совершенно немислимое по длительности время.

От требования «не шевелиться», незаметно и для её мужа, и для её сиделки, вздрогнула полулежавшая на широком диване Амели. Точно искушённый театральный зритель она внимательно наблюдала развернувшуюся перед ней сцену. И что её неприятно поразило и удивило, так это увлечение, с которым сегодня работал муж. Она видела его в работе разным. Усталым и раздражённым. Рассеянным и сосредото-

ченным. Видела его даже мучимым любовным искушением, изнывающим от возбуждения, почти не справляющимся с физическим влечением к обнажённой натурщице. «Этого мне ещё не хватало», – подумала Амели, отмечая необычайную живость в глазах художника, которая точно грозила сбросить с его переносицы очки, золотая оправа которых, казалось ей, сияла ярче обычного. Точно подтверждая свои слова о самом себе, что он «всю жизнь работал как пьяный дикарь, пытающийся вышибить дверь», её Анри энергично, чётко и размашисто водил карандашом по бумажному листу. Глаза его горели и искрились. Муж точно молодел с каждой линией на бумаге, расставаясь, виделось ей, с очередной морщиной на своём лице. Амели отчетливо наблюдала в его просветленном облике вдохновение. И это вдохновение вместе с возникшими как из пустоты одухотворённостью и увлечённостью не на шутку её напугали. «Это какую же дверь он сейчас собрался вышибать?» – с испугом думала Амели.

Испугаться окончательно она не успела. Прошло совсем немного времени, как вдруг мастер развернул к ней лист с портретом мадам Лидии. Амели как следует не рассмотрела изображение, как ей снова пришлось вздрогнуть.

– Мадам Лидия, не шевелитесь! – почти закричал седой художник и снова принялся за работу.

Теперь он чуть изменил ракурс своего зрения, отодвинувшись на стуле корпусом чуть в сторону.

– Мадам Лидия, – уже кричал мастер, – верните улыбку! Умоляю вас, верните вашу улыбку!

Улыбка женщины как по волшебству вернулась к её красивому лицу, чему довольного улыбнулся сам художник. Между тем жена рассматривала портрет своей сиделки и понимала, что это другой, неизвестный ценителям его творчества Матисс. Да что говорить, она и сама не знала его такого! Портрет был не просто хорош. Он был гениален. Никакой штриховки. Сочетание, казалось бы, разрозненных, не связанных между собой плавных линий. Ей даже сначала показалось, что это фрагмент одного из орнаментов, коими одно время он был так увлечён. Сдержанная наполненность пространства листа, лаконичная законченность чётких плавных линий и при этом невиданный прежде общий содержательный объём, который иначе как художественным образом и не назовёшь. Она держала в руках работу мужа, мастерство которого теперь не нуждалось в подкреплении его не нужной детализацией. Точно подтверждая свои слова о самом себе как о «пьяном дикаре», её Анри опять терзал бумагу. И, казалось ей, терзал её душевное спокойствие.

Мадам Лидия, изображённая художником, была, конечно, мадам Лидией, но одновременно с этим она перестала быть сама собой. Амели оторвала взгляд от листа, точно желая убедиться, с её ли сиделки был написан портрет? Сиделка была действительно хороша собой. Но её образ, запечатлённый на белом листе, был несравнимо краше и выше человеческих определений красоты и привлекательности. Амели осталось только поразиться, каким чутьём и каким непостижимым способом её Анри сумел вытащить из облика молоденькой женщины этот образ, которому, несомненно, предстоит самостоятельная, долгая и счастливая жизнь. «А вот перемены к худшему в моей счастливой и спокойной семейной жизни могут последовать», – прозорливо подумала жена художника.

Изрисовав, затем изорвав десяток листов бумаги, оставив из всех эскизов только три, по его мнению, наиболее удачных, мастер, наконец-то, успокоился. И весьма обыденно проговорил:

– Мне нужно рисовать вас обнажённой, мадам Лидия.

«Да, да, конечно», – совсем и не удивившись внешне такому заявлению мужа, сказала про себя Амели. «Всё я это уже видела... Всё я это давно знаю... И всё я это хорошо помню... И ничему-то я уже не удивляюсь», – додумала она ряд своих не весёлых мыслей.

– Мне нужно выйти, – сказала мадам Лидия и быстрой походкой, не дожидаясь ответа присутствующих, направилась к выходу из комнаты.

– Возвращение к чистой графике, при моём живописном опыте, может принести много сюрпризов, – погружённый в свои мысли, бормотал художник, точно потеряв всякий интерес и к своей недавней натурщице, как и ко всему, что происходило и происходит вокруг него.

В стремительном уходе Лидии после сеанса не было бы ничего особенного и необычного, если бы не красная краска смущения, залившая ей лицо. Этого никак нельзя было ожидать от много раз позировавшей обнажённой натурщицы. Амели знала, что ещё задолго до того, как она появилась в их доме, сначала в роли помощницы и секретаря мужа, а затем в роли её собственной сиделки, Лидия не отказывалась от такого рода работы. Проживая в Париже, знала Амели, она много позировала. А ещё подрабатывала домработницей, продавщицей пирожных, даже танцевала в танцевальных марафонах. Вся плата за участие в которых, для сошедших с дистанции танцоров, часто составляла всего лишь миска бесплатного супа.

– Мне кажется, из охотника за цветом я превращаюсь в охотника за естественной линией, – прохаживаясь по просторной комнате, сосредоточенно говорил сам себе Матисс.

Амели молчала, наблюдая за мужем, думала о своём: «Интересно, заметил ли «охотник за цветом» красный тон на лице мадам Лидии? Кажется, что и нет. Не заметил». Зная, что муж не любит, от того и не умеет лгать, наблюдая за ним, она уверилась, что никаких лукавых целей по отношению к сиделке супруг не имеет. И тем не менее она не удержалась от едкого замечания:

– Работа натурщицей плохо сочетается с обязанностями нанятой мной сиделки.

– Что? – совсем не понимая, о чём говорит его жена, спросил Матисс.

– Я не хотела бы, Анри, чтобы ты повторил свой неудачный опыт с несчастной Камиллой. Ещё одну Маргерит я не смогу принять в дом. Одно утешает, что мадам Лидия не способна иметь детей, – совсем уж едко и не понятно к чему вдруг сказала Амели.

Погружённый в сложности и перипетии своего противоречивого творчества, художник не сразу и понял, о чём говорит жена. Смысл сказанного долго доходил до его понимания. «Причём здесь Камилла и Маргерит?» – недоумевал он. Свою первую жену и когда-то модель, Камиллу, он совсем потерял из виду. Их с Камиллой дочери, Маргерит, теперь за сорок. Принятая Амели в дом как родная дочь, она выросла вместе с их сыновьями. И, надо сказать, помогала воспитывать своих младших братишек.

Рассеянность на лице художника сменилась сначала недоумением, затем заинтересованностью. Вдруг он и вовсе рассмеялся.

– Моя Мело забыла, – склонившись над женой, нежно улыбаясь, говорил мастер, – я рисую не женщин; я рисую картины...

«Чему, собственно говоря, я удивляюсь, – точно не слыша своё ласковое имя «Мело», думала о своём Амели в тот момент, когда муж поцеловал её в щёку. «Чему, спрашивается, удивляться, если ещё в самые первые дни их знакомства, на свадьбе школьного друга Матисса, Армана Фонтена, где они с Анри выступали в роли свидетелей молодых, он сказал ей без обиняков и сразу: «Мадемуазель, я нежно вас люблю, но живопись я всегда буду любить больше». В который раз за последние месяцы она, как ей казалось, отметила у себя признаки слабоумия. «Как иначе можно объяснить,

что она только что ни к месту вспомнила и первую жену мужа, и уж совсем некстати упомянула о невозможности Лидии иметь детей!».

Вот так это часто и бывает в семейной жизни. И в семьях простых людей, и в семьях людей выдающихся. Чрезмерная ревность одного из супругов если и не толкает другого в любовные объятия вне семейного круга, то заставляет пристальней взглянуть на предмет ревности партнёра за пределами устоявшегося и очерченного жизнью пространства. Но состоявшееся происшествие имело более серьёзные и глубокие жизненные последствия, нежели имеют обычно любовные увлечения, и даже сама любовь.

Утро другого дня было без остатка использовано мадам Лидией на домашние хлопоты. Справившись с обязанностями сиделки, приготовив для мадам Амели отглаженные халат и платье нового дня, она отправилась в мастерскую. Привычно навела порядок в просторной комнате, что как будто бы уже теперь и не входило в её компетенцию, но стало для неё некой потребностью ещё с того времени, когда она выполняла функции помощника и секретаря Матисса.

– Мадмуазель Лидия, смею надеяться, я не оскорбил вас вчера? В некотором роде моё предложение можно посчитать непристойным, – даже не поздоровавшись, спросил и одновременно предположил вошедший мастер.

– Месье Матисс, быть запечатлённой вашей кистью – честь для любой женщины.

– Но я же вижу, что вас что-то смущает? – проявил неожиданную чуткость к чувствам натурщицы художник.

Нет. Смущение настигло Лидию вчера. Сегодня она была спокойна. Но трудно сказать, куда делось бы это спокойствие, если бы она знала, что Матисс сам в эти минуты чувствовал давно им забытые неловкость и стыд, напомнившие ему прекрасные времена его молодости. Тогда он, молодой художник, ещё толком не различал мужское любопытство и влечение самца с самим искусством. Тогда они часто путались в его малоопытной душе и в таком же малоопытном, но в жадном до удовольствий молодом теле. Влияя одно на другое, перетекая и наслаиваясь друг на друга... Другое дело теперь, когда профессионализм сделал его холодным и циничным. Да и тело стало далеко не прежним. Оно не отзывалось на вид женских прелестей прежним трепетом и непреодолимым желанием владеть открывшейся ему в своей прекрасной наготе женщиной. Впрочем, и в молодости во время работы он, действительно, рисовал не женщин, а картины. И всё же на картинах были женщины. И он не был бы художником, если бы мог об этом забыть.

– Если меня что-то и смущало, то только до сегодняшнего утра, – спокойно ответила женщина. – Мадам Матисс посоветовала мне принять ваше предложение.

– Ой-ля-ля! Что ещё она вам сказала? – искренне заинтересовался мастер.

– Сказала, что будет крайне мне признательна, если как можно дольше вашу мастерскую не будут посещать другие натурщицы, – с улыбкой ответила Лидия.

– Когда я был молод, – рассмеялся Матисс, – бедняжка Амели видела за одну неделю столько обнажённых женщин, сколько даже евнух султана Сулеймана не видел их за месяцы служения в гареме.

Художник наговаривал на себя. Натурщиц у него было не так много, как жён и наложниц в гареме Сулеймана. Во времена его молодости на натурщиц у него просто не хватало денег. Поэтому позировали бесплатно жены. Сначала Камилла, затем Амели. Он был прав в другом: мадам Матисс действительно видела очень много одалисок в шароварах и без них, перекочевывавших из мастерской мужа на его картины. И даже привычную к такому дамскому сопровождению их семейной жизни, жену живописца, это, мягко говоря, настораживало. Что уж тут говорить...

– Если меня что-то и смущает, то это другое, – сказала и, действительно, смутилась, осознав двусмысленность своего возражения молодая женщина.

– Это другое, что? – заинтересовался Матисс.

Лидия подсознательно оттягивала неотвратимый сеанс.

– У меня одно условие, месье Матисс, – неожиданно сказала она, – бумага должна иметь цвет снега... Не совсем обычного снега...

– Какого снега? – не понял художник.

– Бумага должна иметь цвет первого снега на моей родине, месье Матисс. Это такой снег, который в России называют первым... О нём ещё говорят, что он самый белоснежный. Бумагу такого цвета в вашей мастерской я не видела, – чуть нахмутив свои блестящие, соболиные брови, озабочено продолжала мадам Лидия.

«Словосочетание, возможное только для людей севера и, наверное, особенно для русских. Потому что во многих странах первый снег он же и единственный. Он и первый, он и последний», – размышляя, вникал в смысл сказанного художник.

– Это очень поэтично! А какой этот цвет? – лукаво прищурившись, через уменьшительные стёкла очков в золотой оправе спросил гений. – И перестаньте, наконец, называть меня месье Матисс. Мы же договорились.

– Хорошо месье Матисс... Анри, – сразу же поправились Лидия. – Если я такой увижу, я сразу вам скажу, что это именно тот цвет, который требуется.

– Собирайтесь и сейчас же идём за подходящей бумагой, – точно принял правила игры мастер. – Пора нам вместе посетить великого Пьера.

Великим Пьером он называл владельца небольшой лавочки на маленькой улочке Ниццы, выходившей на морскую набережную. Был этот Пьер маленького роста. Носат и прилипчив во время беседы. Лидия неоднократно уже бывала там одна, когда художник поручал ей, по составленному им списку, купить материалы для работы – грунт, краски, скипидар и вкусно пахнущие конопляное и льняное масла. Туда они и отправились спустя несколько минут.

«Белоснежный снег... От самого этого неправильного и нелепого русского словосочетания хотелось улыбаться. Интересно... Это всё равно, если бы сказать «жёлтопесочный песок», – действительно улыбался и иронизировал Анри Матисс... Подход будущей модели к материалу, на котором ей предстояло быть изображённой, удивил его. Как выдающийся колорист, он различал все сто оттенков чёрного цвета, обычно скрытые от среднего человека. Но вот что касается цвета белого, то кто-кто, а он-то доподлинно знал, что чистого белого цвета в природе не существует. Как и абсолютно белой бумаги. Хотя и далёкий от живописи индивид может иногда почти без труда разложить и разделить по насыщенности и оттенку десяток белых листов, казалось бы, одинаково белой бумаги. «Цвет снега её родины», – силился вспомнить Матисс. «Да, русский снег особенный. Это не снег Ле-Като, где он родился, и не снег промышленного Бозна, где прошло его детство. Это не снег альпийских вершин и не снег пиренейских перевалов. Да и горный, альпийский, снег не похож на снег как таковой. Но это и не быстро тающий снег Бретани. Но откуда мадам Лидия знает, что белый цвет бывает очень разный? Нет, не знает. Просто чувствует. Чёрт разберёт этих славянских дочерей! То они музыкальны, как не каждый профессиональный музыкант. То начитаны, как иной профессор. При этом мировоззрение и свобода мысли, ясность ума, которую встретишь не у каждого философа. Теперь, как выясняется, они разбираются и в такой туманной для зрителей и спорной для художников составляющей живописи, как колористка», – мысленно иронизировал прежний

лидер фовистов¹. «А если серьёзно, – продолжал размышлять художник, – белый цвет и белый снег отражают окружающие цвета. Поэтому снег может быть серым в пасмурную погоду, может быть голубым под синим небом в ясный солнечный день. Может быть зеленоватым, если он лежит в хвойном лесу. В России, – вспомнил он, – однажды видел снег золотистый. В тот момент высокие сугробы русской зимы позолотили своими отблесками золотые купола православного храма».

Если Матисс называл и считал себя северным человеком, то Лидия была человеком северным куда больше него. Для жителей Франции родные для художника равнины Фламандрии действительно крайние северные широты. Но такой «крайний север» может вызвать у русских разве только улыбку. А если русский человек родился и вырос в Сибири, то он и вовсе справедливо воспринимает как север только полярный круг, а жарким югом готов считать достаточно умеренный климатический пояс Украины.

Но, действительно, общим для всех северян было и есть особое отношение к снегу. Северянин, с одной стороны, считает снег рядовой, часто и неприятной обыденностью. С другой стороны, каждый раз радуется первому снегу, мерное падение которого воспринимается им как знак обновления и предвестие грядущих жизненных перемен. Цвет первого снега – это, скорее, ощущение, чем собственно снег. Именно это ощущение подразумевала Лидия, когда заговорила о первом снеге. И Матисс, не устававший повторять, что «ощущение цвета рождается внутри художника», понял это. К тому же он, как немногие французы, понимал русских, которым во Франции всегда не хватало снежной зимы. Именно о недостающем им снеге они постоянно вспоминали и говорили, как о чём-то недостижимо прекрасном, как и о самой своей прежней, утерянной жизни на родине.

– Душа вздохнула, – говорил первым зимним утром отец Лиды – доктор Делекторский.

Он протирал очки и трогательными, близорукими глазами глядел на засыпанные первым снегом двор и улицу. И улыбался. Затем уже с надетыми очками повторял:

– Душа вздохнула...

Душа действительно вздыхала. И небывалое оживление наполняло дом её детства. Из небольшого сарайчика во дворе, именуемого стайкой, тащили запывлившиеся за прошедшие полгода санки. Доставались из кладовки лыжи и коньки. Откуда-то с чердака несли коровьи шкуры, на которых предстояло кататься с ледяных горок. Эти горки в далёком сибирском Томске не строили, а просто использовали природные склоны, которых при холмистом ландшафте набиралось немало.

Маленькая Лида воспринимала снег как живой. Он и был для неё живой. Он цеплялся за ветви деревьев. Он, падая с неба, захватывал собой огромные пространства не только во дворе, но и на улице, и в городе, и за городом. Даже поля и тайгу за большой рекой накрывал собой снег и лежал там притаившись. Точно боялся, что его могут прогнать. Падая в воды озёр и рек, снег, казалось девочке, делал воду темнее, чем она была до его появления. Самое главное, снег умел летать. Иногда он залетал ей в рот, и от этого становилось очень смешно. А ещё маленькая Лида разговаривала с ним.

– Куда? – удивлённо спрашивала она у снега, когда он, тая, превращался в воду на её ладошке и по капелькам утекал прочь.

Куда и почему он пропадает, снег не отвечал. Но он её слышал, верила девочка. А немислимые по красоте снежинки, из которых, оказывается, состоял снег, просто

¹ Фовизм (от фр. «faves» – звери) – художественное течение, на короткое время объединившее художников, экспериментировавших с цветом в самых ярких его проявлениях.

поражали её воображение и накрепко приковывали детский взгляд к своему немислимому узору, который, должно быть, сделал сам Бог. Небесное происхождение снежинок ясно объясняло ей сложность мироустройства. Потому что такую одновременно сложную и простую тонкую красоту не по силам создать ни одному человеку на земле.

А ещё снег можно и нужно было нюхать. Иногда снег, казалось ей, чудесным образом пах яблоками. В это время украшенные хлопьями первого снега кедры, стоявшие вдоль улицы далёкого сибирского города, напоминали гигантские цветущие яблони. Их зелёные длинные иголки были спрятаны под снежными хлопьями, которые издали воспринимались как большие белые лепестки яблочных соцветий. Будто и не ночной снегопад украсил их, а какое-то чудо превратило сибирских великанов в огромные цветущие яблони с белоснежными цветами на огромных ветвях.

Ещё из детства запомнился хрустящий снег. Однажды он хрустел, когда мимо колонной проходили весёлые взрослые. Шли они с красными флагами, с транспарантами такого же красного цвета. Разливисто и пронзительно играли гармошки, иногда и в дуэте с балалайкой. А взрослые наперебой пели какие-то странные песни о борьбе и о жертвах, и о каком-то народном деле. Папа, мама и сама Лида с саночками, которые она держала за верёвочку, ждали, когда демонстранты пройдут мимо. Лида спросила:

– Папа, куда они идут?

– Не знаю, – ответил отец, – вероятно, на Новособорную площадь.

– Зачем? – поинтересовалась девочка.

– Революцию делать, – через стёкла очков в золотой оправе, отслеживая шагавший навеселе поток людей, хмуро отвечал отец.

– А как революции делают? – опять спрашивал ребёнок.

– Как всё в России, – отвечал отец, – тят-ляп и готово...

– Николай Иванович не морочьте девочке голову, – вмешалась в разговор мама.

Вера Павловна Делекторская обращалась к мужу по имени отчеству и на вы.

– А-а-а, – протянула смышлёная Лида, и этот момент детское сознание накрепко связало делание революции с лепкой снежной бабы, которую ребятишки постарше лепили почти у каждого дома на их улице.

Лепка снежной бабы начиналась с изготовления обычного снежка. Если его куда-нибудь не бросать, то его можно положить на первый снег и начать перекатывать. Снежный колобок будет цеплять мокрый снег и становится всё больше и больше в размерах. Нужно только время от времени похлопывать его по бокам, чтобы он становился плотнее и случайно не развалился. Потом следовало начинать катить шар дальше по тому месту, где снег ещё не растаял и его не затоптали ногами.

Снежные бабы, или снеговики, состояли из трёх разновеликих круглых шаров. Самый большой становился нижней частью тела. На него водружался шар поменьше – туловище, к которому приделывались руки из крупных снежков. Наконец, сверху устанавливалась голова. Голову венчали старым ведром. Вместо носа вставляли красную морковку. Два чёрных уголька обозначали глаза. Часто спорили, какой делать рот? В результате часто делали его то чёрным из того же угля, то красным из ломтиков свеклы. Иногда не из чего не делали. Просто проковыривали дыру в голове изделия. Получалось, что фигура кричит. А может быть поёт. Метлу в руку – баба готова.

Вот как-то так, но иначе взрослые каким-то странным образом делали в центре города революцию, казалось ребёнку. Технология изготовления революции представлялась детскому сознанию невообразимо сложнее. Не так, чтобы «тят-ляп»... Революцию, казалось Лиде, варили в большом чане. Чан то закрывали крышкой, то открывали, чтоб помешать густое тёмно-бардовое варево толстой палкой. Пока, наконец, из него не вылезала сама революция, которая таинственным образом образовалась

внутри ёмкости, водружённой на большой костёр. Получалась революция живая как все люди. Только намного выше их ростом и вообще крупнее, чем обычный человек. Её, голую, обтирали от багровых подтёков. Потом начинали наряжать в красное платье, сшитое из такой же красной ткани, как флаги и транспаранты, которые принесли с собой. Платье оказывалось не по росту и поэтому плечи революции оставались открытыми. Но холодно от этого ей почему-то не было. В руки ей вместо метлы, как у снежной бабы, давали большой красный флаг. Революция его брала.

В конце концов, готовая революция представлялась девочке не лишённой привлекательности зрелой женщиной, но всё же страшной из-за своего высокого роста, из-за своей непричёсанности и ярких кровавых губ. Она была похожа на женщину-вамп из женских журналов. Сделанная странным образом революция, в представлении Лиды, потом ночами ходила по Томску и пугала прохожих. А ещё подолгу стояла у дверей домов, подслушивая, что о ней говорят жители. Уже со свёрнутым флагом. Но от этого не менее страшная и опасная. Иначе почему вечерами, когда мама и папа разговаривали о революции, они хмурились и встревожено поглядывали на входную дверь? Родители точно боялись, что в столь поздний час к ним в дверь может постучаться это жутковатое существо, сделанное на площади.

Когда она однажды болела, то даже попросила, чтобы мама и папа никому не открывали дверь, когда она будет спать.

– Почему? – спросил, заглянув за ширму, удивлённый отец.

– Вдруг к нам придёт революция, – куксилась она.

– Спи. Спи, ангелочек. Не придёт. А придёт – мы её прогоним бесстыжую, – утешала дочь мама. – Метлой её прогоним.

Всё это было более чем удивительно. Особенно, когда уже взрослая Лидия впервые увидела картину Делакруа² «Свобода». Она была поражена тем, что именно такой ей и представлялась революция. Художник оказался даже более точен. Он изобразил свою Свободу с обнажённой грудью, шагающую по окровавленным трупам в сопровождении людей небольшого роста с оружием в руках. Такого реального зримого воплощения детской фантазии маленькая Лидия даже представить себе не могла. Она ошиблась только в цвете платья и флага. В руках у французской свободы был национальный триколор. Но ещё более удивительным оказалось то, что Делакруа оказался любимым художником Матисса. Сама её жизнь стала находить и подтверждать мистику в ремесле настоящих художников. Как, впрочем, мистику и в своей жизни...

– Нет, – категорично заявила мадам Лидия, пересмотрев шесть десятков образцов бумаги в магазине великого Пьера.

– Мадемуазель меня расстроила, – искренне проговорил носатый торговец, – во всей Ницце у меня лучший выбор материалов для художества.

– Ничего не поделаешь. Наверное, нам придётся отправиться за нужной бумагой в Париж, – посочувствовал и себе, и Пьеру мастер.

– Месье Матисс, если вам удастся найти в Париже искомую бумагу, то непременно пришлите мне образец. И ни в коем случае не ходите к этому выскочке Дономану. Этот замухрышка позорит своим поведением и видом звание честного торговца.

С того момента как Матисс в шутку назвал его «великим», Пьер, похоже, ни разу не усомнился в своем «величии». Он не скупился на советы не только в производ-

² Эжен Делакруа – французский художник-романтик. Впредь автор не намерен перетруждать читателя сносками. Знакомый с живописью читатель без труда сам поймёт о чём речь, а в условиях информационного общества.

ственных и житейских вопросах, но и в вопросах творческих. «Ах, мастер, если бы в этих ваших тенях от оливы было бы больше кобальта, в этих скалах охры, и при этом вы убрали бы излишки ультрамарина с морских волн, то ваш пейзаж не имел бы цены!». Иногда он и вовсе переходил к прямым указаниям: «Отдайте этот этюд мне. Всё равно вы его выбросите».

– Не ходите к Дономану, – не унимался Пьер, – сразу после Парижа непременно зайдите ко мне.

– Обязательно, Пьер, – раскланиваясь и увлекая Лидию к выходу, пообещал художник.

Впрочем, едва они вышли из лавочки Матисс лукаво сообщил своей модели:

– Мы идём к Дономану.

Действительно, в Париж за материалами ехать не пришлось. Нужную бумагу у Дономана и нашли. Довольный, молчаливый Дономан – подвыпивший верзила, только разводил руками и ничего не говорил. Ещё более довольная и удивлённая Лидия торжественно смотрела на мастера, разглядывавшего бумажный лист стандартного размера. Бумага, действительно, была белоснежной. Гений до слёз рассмешил славянку, когда вдруг оторвал маленький кусочек от листа, растёр его в пальцах и понюхал образец точно так, как она в детстве нюхала снег. Потом удивлённо поднял глаза на свою спутницу и рассмеялся.

– Мадам Лидия, эта бумага почему-то имеет запах яблока.

От такого заявления гения Лидия перестала улыбаться и с полными изумления голубыми глазами посмотрела на мастера. «Не разыгрывает ли он её?».

– Вы только понюхайте, – протягивая обрывок с неровными, оборванными краями, предложил гений.

Он её не разыгрывал. Бумага действительно, к полному изумлению Лидии, имела яблочный запах.

Анри Эмиль Бенуа Матисс закрепил на мольберте белоснежный лист бумаги. Своими руками застелил простыней низкую кушетку. Рядом выставил ширму, которую чаще всего использовал в своей работе не по прямому назначению, а лишь как фон. Никаких других тканей, никаких предметов, обычно обязательных для сеанса, на этот раз он задействовать не предполагал. Как и красок... Его интересовали только линии, которые он собирался наносить углём.

– Прошу вас, мадам Лидия, проходите. Раздевайтесь.

В принципе он оказался верен своему правилу: заниматься живописью днём, а графикой вечером. Но ушли и свет, и вдохновение, и само желание работать.

– Нет, стойте. Не сегодня... В другой раз...

Николай Толстиков

ДЕРЖАВНЫЕ БРАТЬЯ

Рассказ

(В лето 1491 от Р.Х.) Сыновья

Княжича-отрока схватили прямо в соборе за вечерней молитвой. На службе он, стоя на коленях, считай, один; в полутёмном, еле-еле освещаемом немногими теплящимися свечками гулком холодном нутре храма, лишь на клиросе подавала голос тройка певчих, чередуясь с едва слышными из алтаря прошениями священника:

– Господи, помилуй...

Ратные люди с таким шумом и топотом ввалились в храм, как будто собирались не четырнадцатилетнего парнишку вязать, а ражего детину. Иван и испугаться не успел, слова Иисусовой молитвы договаривал, пока влекли его, подхватив за руки и за ноги, к выходу из церкви.

Дошло только, что дело-то неладно, когда запястья тонких, не привыкших и к игрушечному шутовскому мечу, а больше приученных сжимать древко хоругви во время крестных ходов, рук забили ловко и споро в «железа» незнакомые бородатые дядьки, поговору узнавалось – москвиты.

Иван поискал глазами кого-нибудь из дворни, но понапрасну: то ли все поразбежались от страха, а то еще хуже: где-то лишённые жизни лежат. Эти запыленные с дороги, хмурые чужие ратники всё могут. Как нарочно, и отец уехал вместе с боярами и челядью гостевать к своему старшему брату – великому князю Московскому Иоанну Васильевичу. Тут тати коршунами и налетели, улучили времечко взять врасплох!

– Другой сычонок где? – свирепо крикнул кто-то.

– Тутока!

Дмитрия, младшего, дюжий ратник волок за шиворот, как кутёнка, попутно отпихивая сапогом цеплявшуюся за мальчика няньку. Грубо заброшенный в телегу, Дмитрий, хныча, прижался к брату, с испугом косясь на железные оковы на его руках.

Княжичей закрыли попонами и что есть мочи погнали лошадей.

Иван пытался подглядывать из-под укутки и вскоре уже не мог узнать мест: после тряской, отшибающей всё внутри, дороги средь лугов поехали тише, с обочин вплотную надвинулся сумрачный ельник. Смеркалось.

Лес порасступился, засветилось прощальными солнечными бликами речное плёсо под крутым обрывистым берегом: похоже, тут был перевоз. Вон и избушка лодейщика стоит, скособочилась. А возле неё какие-то люди, один даже вроде и знаком.

Остановились. Братишка, по-прежнему прижимаясь к Ивану, задремал, жаль было его тревожить, когда кто-то скинул попону и приказал:

– Выметайтесь!

Иван, осторожно разомкнув обнимавшие его ручки брата, позванивая цепью, кое-как выбрался из телеги. С Дмитрием опять не церемонились: вытащили, встряхнули, поставили на ноги.

Младший хныкал и протирал кулачками глаза, а Иван рванулся к знакомцу, радуясь. Отцов боярин Фёдор!

Боярин, молодой, с пробивавшейся реденькой бороденкой на скулах, поморщился, завидев оковы на руках княжича, сказал чуть слышно что-то другому, тоже по виду боярину, пожилому и с хитрым прищуром глаз, перед ним ещё набольший ратник, подойдя, с почтением снял шапку.

– Заходите в избу, отдохните малость! – получив согласный кивок, заискивающе улыбнулся княжичам Федор.

Едва вошли в избушку, он помрачнел и заговорил первым, не дожидаясь расспросов ребят:

– Дорога вам дальняя предстоит, на Вологду. Так великий князь Иоанн Васильевич постановил.

– А батюшка наш где? – едва удерживая слёзы, стойно бы Дмитрию не разреветься, спросил Иван.

– Того не ведаю... – отвёл глаза в сторону Фёдор и вдруг упал на колени, неловко кланяясь княжатам в ноги. – Простите меня, если сможете!

Заслышав шорох за дверью, он спешно поднялся и распахнул её:

– Переправят вас через реку и дальше в моём возке поедете!

Иван, выходя, расслышал, как Фёдор негромко приказал ратнику:

– Оковы не снимать до самого места! А ежели чего...

Тут рядом заржала лошадь, и остальные слова не удалось разобрать.

(В лето 1491 от Р.Х.) Отец

У князя Андрея дорогою щемило сердце недоброе предчувствие: неспроста, ох неспроста, зазывал на гощение старший брат Иоанн да Васильевич, вон, даже бояр именитых своих прислал! Хитромудро всегда брат любое дело затевает, уделы после младших братьев к рукам прибрал, недолго думу думал... Что случилось с младшими? Молва в народе пущена, что преставились оба по «болести», тихо-чинно, исповедовавшись и вкусив Святого Причастия, но не верилось князю Андрею, слышал он от верных людишек и иное. Что за хворь такая: цветущих, в соку, ещё не успевших обзавестись чадами, молодцов скрутила за несколько часов. Хоть бы моровое поветрие случилось, там что холоп, что князь – без разницы, но тут-то двоих только и не стало. И перед тем как навсегда смежить очи, оба вернулись из Москвы...

Князь Андрей с детьми своими Иваном и Дмитрием прощался долго, ласково выпрашивал о ребячьих делах, гладил обоих по русым завитушкам кудрей, на прощание каждого перекрестил и поцеловал в макушку. До сих пор перед глазами стояли оба отрока: серьёзный, с печальным взором чёрных, поблескивающих слезою глаз, Иван, прозванный дворовыми «князем-монашком», и Дмитрий, вылитый – покоенка княгинюшка, весёлый и уже сейчас сгорающий от нетерпения – какой-то подарок отец из Москвы привезёт.

Подумал дорогой о сыновьях, и в душе едким мускусом растеклась горечь: никому из них не бывать на великокняжеском столе, как и самому. После Иоанна-то ему бы, Андрею, черед наследовать по старым дедовским законам, «лествичному праву», а нынче при Иоанне закон другой – объявил великий князь наследником своего

только что народившегося внука. А ведь даже покойный батюшка Василий, прозванный в народе Тёмным, супротив прадедовских заветов не пошёл, разделил по старинушке на уделы всем сыновьям Землю свою.

А Иоанн... Князь Андрей вспомнил, как дрожали от холода они со старшим братом, будучи ещё отроками, в стылом нутре собора, посаженные под стражу и – пуще – от страха жались друг к другу: неведомо куда увели отца двоюродные братья Димитрий Шемяка и Василий Косой, «вышибив» из-под него престол, заставив отречься от власти. И бросились юнцы к появившемуся в проёме врат отцу и тотчас с ужасом отпрянули обратно: вместо глаз на знакомом до каждой морщинки лице из-под сбившейся чёрной повязки кровавились страшные раны.

Хоть и была потом победа над врагом, однако всё прошлое горьким уроком, видимо, для родителя не стало. Но не для Иоанна...

Много чего ещё думалось князю Андрею и в полудрёме в тряском возке, и в бессонные ночи на постоялых дворах. К Москве он подъезжал и вовсе тревожный, минуя узкие улочки, всё почему-то побаивался лишний раз выглянуть из возка, а перед воротами в кремль захотелось ему развернуться и – в галоп, восвояси!

Створки ворот медленно, как-то завоораживающе, разошлись, зычным окрикам стражи устало отвечали андреевы ратники; и вот со ступеней крыльца, тяжело колыхаясь чревом, обряженный в праздничный кафтан, скатился один из первейших Иоанновых бояр – Семён Ряполовский.

– Государь ты, дорогой князюшка, ждет – не дождется!

Воскликнул вроде бы приветливо-радостно, но, поди-ка угадай, что в узеньких щёлочках заплывших боярских глаз таится.

Князю Андрею припомнилось вдруг, как за недавним временем не поспешил он с ратью на подмогу старшему брату на Угру-реку, где стоял тот супротив бесчисленной орды Ахмат-хана, казался недужным. Потом все-таки вдогон московитянам собрался было выслать войско, назначив воеводой одного из своих бояр, но бояре же и отговорили: дескать, намнёт хан Иоанну бока, а пуще и шею свернёт – быть тебе тогда набольшим! И младший брат Борис им вторил, клонил опять к тайному союзу с Литвой.

А как принесли весть, что Ахмат отступил без сечи, а Иоанн и ханскую грамоту-басму о требовании дани растоптал – рухнуло иго над Русью, тогда шептуны-бояре трусовато притихли, народ на городище ликовал, Андрей же сидел в тереме растерянный, слушая как Борис скрипит от злобы зубами и чертыхается. Андрей покосился на рассвирепевшего брата, опрокидывающего медовуху чарку за чаркой, и впервые с облегчением подумал, что, слава Всевышнему, не он, князь Угличский. наибольший в роду.

Борис вскоре погиб странной смертью на постоялом дворе близ литовских пределов; знающие люди сообщили, что обобрали его до нитки тайные лазутчики московитов, но ещё хуже – пропала сума с грамотками на сговор с литвинами, а в них, может быть, и Андрея имя поминалось...

Старший брат встречал не торжественно, по-простому, по-свойски: надавив тяжело на плечи Андрею крепкими руками, трижды облобызался с ним, повёл, поддерживая под локоть, во внутренние покои. В просторной горнице стояли богато накрытые столы – за них принялись рассаживать андреевых бояр и дружинников; Иоанн же провёл Андрея в небольшую уютную светёлку, видимо, собирался потолковать с глазу на глаз.

Андрей подметил, что как всё-таки постарел брат, хоть и виделись не так давно, огруз телом, седина разлаписто влезла в бороду, из-под низко нависших, почти сросшихся на переносье бровей поглядывали испытующе-колюче маленькие медвежьи

глазки, отчего Андрей, сглотнув ком в пересохшем горле, отвечал попервости брату невольно.

А Иоанн приветливо и с участием справлялся о здоровье, расспрашивал о домашних; пригубив чарку хмельного мёда, вздохнул: «Один брат ты у меня остался...».

У Андрея на сердце отлегло.

– Подарок тебе преподнести желаю! – Иоанн хлопнул было в ладоши, призывая слугу, но передумал: – Погоди, сам принесу!

Он вышел, а Андрей, расслабленно протянув ноги под столом и чувствуя, как в голову бухает и медленно крутит её хмель, вслух проговорил: «Хорошо-то как!».

Слабо донесшийся шум из глубины терема насторожил было князя, но он устало смежил очи – почивать бы с пути-дороги. Каким бы брат подарком не одарил, всё равно дорого другое – внимание...

Дверь распахнулась, и князь растерянно заморгал, ничего не понимая: грузно ввалился в светелку Семён Ряполовский, следом за ним – тройка дюжих молодцов. Князя обступили, Семён склонился к самому его лицу – щелки глаз, поблескивая, хищно шурились, будто у татарина:

– Подставляй белы ручки, князюшка!

– Иоанн! Измена! – восторженно, вскрикнул Андрей осевшим голосом и застыл, притиснутый грудью и лицом к столешнице.

Его скрутили, повели длинным переходом в подвал, в рот забили тряпку.

– Мычи теперь, мычи! – насмеялся Ряполовский, позади еле поспевая на своих коротеньких ножках. – Чья ещё измена? И кому?

Андрей, поняв всё, обмяк и от внезапно накатившей слабости упал бы, наверное, кабы не держали его крепко.

(В лето 1493 от Р.Х.)

Дни и ночи в затворе тянутся медленно... Какое время года стоит – узник, зато чётный в «каменный мешок», узнавал по оконцу под самым потолком, пробитому в гладкой, ногтем не зацепишься, стене. Если вслед за студёным ветром стали залетать снежинки, знать, зима наступает, а если начнут всё чаще заскакивать весёлые ласковые лучи солнышка – весна-красна идет.

Если б не худенький бараний тулупчик, подброшенный приставом в лютый мороз, отдал бы Богу душу князь Андрей, для всех прочих за крепкими стенами узилища неизвестный тать и разбойник. И, вправду, на человека своего звания стал не похож: оброс страшно, исхудал, на пожелтевшем лице глубоко ввалились глаза, запах дурно, из прежнего только и остался на теле полуистлевший кафтан, не посмели его снять темничные стражи.

Попервости накатывало на князя, особенно когда пред тем снились ему испуганные лица сыновей; он начинал бить кулаками в дверь, требуя передать челобитную государю, в оковах скоро отбивал до ломоты руки и, звякая цепями, без сил валился возле порога. Заглядывал опасливо страж, ставил мису с едой; однажды Андрей пополз на коленях к нему, умоляя позвать кого из начальных людей, но стражник, отшатнувшись, прежде чем захлопнуть дверь, замычал странно, вроде как рассмеялся и открыл широко рот с редкими гнилыми зубами – в глубине трепетал обрубок языка.

С того раза князь не бился и не стонал больше, поняв, что погребен заживо. Моглился только о детях своих: кто знает, может, томятся так же где-то неподалёку. Он тяжело, с надрывом, кашлял: не прошли даром морозы, разрывало грудь. Заметив влетевшие с порывом ветра снежинки, Андрей вздохнул: зимы не пережить...

Загребел запор, но вместо безязыкового стражника в темницу ввалился некто грузный, отпыхиваясь, в богатой одежде.

Андрей с испугом попятился в дальний угол: призрак, злой дух, не иначе, стоял на пороге – боярин Семён Ряполовский. Так же щурил и без того заплывшие щёлки глаз на мясистом лице:

– Неуж испужался, князюшка? Не бойся, не с худом я к тебе, не с худом!..

Семён присел бы куда, да не на тюремный же грязный топчан гузно пристраивать, кафтан еще измараешь. Остался стоять, колыхаясь чревом:

– Уж мы, бояре, на тебя, княже, зла не имеем. Митрополит за тебя пред государем хлопотал. Но ответ государев жесток: дескать, с Литвою вместе с братом Борисом ты якшался, а буде Господь, де, меня в одночасье призовет, и под наследником моим всё равно великокняжеского престола искать будешь. И порешил он, скрепя сердце и скорбя душою, тебя под крепкие замочки тайно поместить. Людишек ненадёжных вокруг много, не дай Бог, пря, смута какая возникнет, и тебя втащат. Не так?

В ответ князь Андрей закашлялся, аж согнулся пополам, добрёл ощупью по стене до своего убогого ложа, повалился.

Ряполовский, замолкнув, с отвращением и страхом покосился на пятна крови на ладонях князя, едва отнял он их от уст.

– Долго не протяну... – Андрей, наконец, смог продышаться. – Передай брату моему государю – челом бью о детях моих, позаботиться прошу, не обижать. Вот, возьми! – князь снял нательный крест и, поцеловав, протянул Семёну. – Будь ходатаем!

На золотых перекладниках крестика сверкнули драгоценные камушки, и блеск их на мгновение отразился в хищных острых зрачках глаз боярина.

– Будь покоен, князюшка! И так с их бережёных головешек ни волоска не пропало... – запел елеин Ряполовский, потом выглянул за дверь и вернулся к князю с дорогой изукрашенной чашей в руке, принятой у кого-то из слуг. – Вот государь жалует тебе вина заморского, осталось за ним...

Андрей удивлённо вскинул брови, но тут же по жёлтому болезненному лицу его растеклась бледность.

– Поставь рядом! – едва слышно, дрогнувшим голосом попросил он. – Уймется трус в руках, и приму! Спаси Бог брата...

Ряполовский вышел, прихлопнув дверь, бросил безязыкому стражнику:

– Чаша – твоя! Потом пропади!

Стражник, ощерив зубы, понятиливо, с радостью закивал.

Князь Андрей, поднося трясущимися руками чашу к устам, взмолился: «Господи, прости мя и прими душу мою грешную! Не оставь чад моих!».

Чаша, расплескивая остатки зелья, покатила по полу: князь, пригубив, отшвырнул её. Теплота вдруг разлилась по всему телу князя, огнём полыхнуло внутри, во чреве, и темничное оконце под потолком стало стремительно приближаться, душа Андрея ощутила себя на свободе...

Стражника же нашли утром в ближнем лесу, голого, с проломленной башкой.

(В лето 1527 от Р.Х.) Братъя

Ивану, первенцу Андрея Угличского, приснился сон: будто он – маленький мальчик, стоит в кремлёвских палатах, и обступили его в чёрных, как вороново крыло, рясах митрополит в белом клобуке, архиереи, прочее духовенство. Напуганный многолюдьем, он пытается спрятаться за спину отца, тоже облачённого в чёрное, но – глядь! – совсем другой человек оборачивается к нему и недобро усмехается в цыганящую курчавую бородину.

Говор, шепоток умолкают при появлении дяди – державного государя Иоанна Васильевича. Только не пышно разодет великий князь, а в каком-то он в невзрачном темном одеянии и голову держит не гордо, надменно поглядывая, а понурился, в глазах

– слезы. Руки его прижаты к груди, едва внятный голос умоляющ:

– Отцы святые, покаяться вам, как перед самим Господом, хочу... Безвинно погубил я брата своего Андрея. Побоялся, что худое супротив меня, как бывало в безрасудной молодости, затевать будет, а потом и дети его – против детей и внуков моих. Опять державу нашу на кровоточащие куски раздерут, и рабами будем поганым язычникам. Но нет покоя мне, что брата живота лишил во хладе и гладе, грех сей великий хочу замолить. Нет мне прощения...

Иоанн Васильевич смиренно склонил голову, в духовенстве разросся ропот; взметнулись, заполоскались черные крылья широких рукавов рясы, а страшный бородач вместо отца наклонился к Ивану и крикнул неожиданно тонким веселым голосом:

– Живы ещё, православные?!

Иван пробудился. В низком проеме темничной двери, согнувшись, стоял страж – молодой, с едва пробивающимся пушком над верхней губой, с румянцем во всю щеку, парень. Братья уже привыкли к суровым непроницаемым лицам молчаливых стражников, а этот был приветлив и словоохотлив.

– Тятя мой покойный вас сторожил! Мне заповедал вас не тиранить. Вы ведь не тати, не убийцы, а в народе бают – без вины явной тут томитесь...

С той поры, как заточили княжичей в темницу в монастыре под Вологдой, минуло три десятка лет. Им бы вымахать, раздуть в родовую княжью статью, но сейчас с лежанок со спальным тряпьем на стражника молча взирали два заросших длинным седым волосом высохших старца с бледно-матовой кожей на сморщенных лицах и забитыми в «железа» руками со вспухшими синими венами.

– Слыхал от людей – врать не будут, что в наши края скоро сам теперешний государь Василий Иоаннович с молодой женою Еленой пожалуют, – стражник, ловко орудуя черпаком, разливал из котла по глиняным мискам исходящее парком хлёбово. – По монастырям, по церквам поедут молить Господа, чтобы наследника даровал. Монашествующим да попам – подарки, кандаляникам иным – милость. И до вас, сердешных, даст Бог, доберутся!

Стражник затворил дверь, проскрежетал засовом. Димитрий, младший, с затеплившейся в глазах надеждой посмотрел на брата:

– Может, и вправду ослобонит нас двоюродничек-то Василий!

Иван чуть пригубил из лжицы хлебова да так и зашелся в выворачивающем нутро кашле, согнулся на лежаке крючком. На устах запузырилась розовая пена; когда поотпустило, просипел еле слышно:

– Не дожидаться... То-то мне все дядя наш Иоанн Васильевич снится. Кается он.

– Вражина этот, душегубец наш? – со злостью воскликнул Димитрий, жалостливо взиравший на брата.

Ах, кабы не старший брат, кем бы сейчас он, Димитрий, был? Грязным, невнятно мычавшим животным, с голодным рёвом ловающим кусок хлеба, швырнутый стражником в приоткрытую дверь? Ведь рядом в тёмных норах узилища так и было: толстые каменные стены не могли схоронить душераздирающих криков.

Когда княжичей втокнули сюда, в темницу, Димитрий хныкал беспомощно – на него тоже надели оковы; Иван же поставил на выступ в стене, куда падал из окошечка солнечный луч, подарок отца иконку Богоматери «Всех Скорбящих Радосте». Как и сохранить её сумел, не расставался ни днём, ни ночью. Потом упал на колени и зашептал слова молитвы.

Димитрий, остерегаясь лишний раз звякнуть цепью, отер кулачком слёзы и подполз к брату. Оставалось уповать на Промысел Божий, надеяться, что вот-вот, не сегодня-завтра, придёт отец и выведет отсюда, увезёт домой в чистые теплые палаты.

В мальчишестве было проще – ждал-пождал отца да уткнулся лицом в плечо стар-

шему брату; войдя в юношескую пору, Димитрий как ещё страдал и метался. В узкое оконце темницы проникали весенние запахи, звуки, в монастырском саду пели птицы; в праздники ветер доносил с дальнего луга девичий смех и песни. Димитрий кричал, стучал кулаками, бился головой в узкую темничную дверь, бешено выкатив глаза, вперивался ненавидящим взглядом в стоявшего на коленях перед иконой молящегося Ивана и сникал, обессиленный, падал на пол, стуча зубами, начинал повторять за братом слова молитв. Потом Иван, успокаивая его, разговаривал с ним о Боге, рассказывал о святых мучениках и страстотерпцах, о событиях минувших лет: рано овладев грамотой, старший княжич успел прочесть немало книг в отцовском древлехранилище.

Эх, брат, брат!

Вот и сейчас, почти на смертном одре, хватая жадно воздух, проговорил:

– Напрасно ты, брат, хулишь дядю-то нашего... Если б не его державная воля, пострадали ли бы мы во имя Господа... – едва послушной рукой Иван попытался сотворить крестное знамение. – Кем были бы мы в свете? Как дядя, как прашуры наши – удельные князья? Ради власти на клятвопреступление готовы, на братоубийство? Несть числа прелестям разным... А мы, пострадав безвинно, придет время, соединимся со Христом чистою незапятнанною душою.

Прежде бы Димитрий стал возражать брату, но сейчас молчал и взирал на него со страхом: лицо Ивана покрылось испариной, он прошептал из последних сил:

– Игумена позови! Пострига желаю, монасем пред Господом хочу предстать.

Игумен со братией монастыря пришли незамедлительно; Димитрий, забившись в угол, напуганный заполнившим тесноту темницы многолюдством, пока облакали брата в схиму, чувствовал на себе его тёплый ласковый взгляд. Потом внезапно стало холодно, стыло...

Тело Ивана подняли и вперед ногами понесли из темницы. Димитрий с плачем бросился следом, но перед ним, больно отшвырнув его назад, тяжело захлопнулась дверь.

(В лето 1528 от Р.Х.)

Великий князь Василий Иоаннович с молодой супругой княгиней Еленой прибыли во град в самый праздник Рождества Христова.

Весёлый залихватский благовест разлился над Вологдой; радостно откликнулись монастырские колокола.

– Великий князь с княгинюшкой у нас! – распахнул, сияя, дверь темницы молодой стражник. Наступил твой час, отче! Кто сам милости ищет, тот и других милует!

Димитрий от волнения больше не мог усидеть на месте: звеня цепью, день-деньской пробродил по своему узилищу, радуясь, но и жалея, что не дожил брат. В сумерках уж устал прислушиваться: не раздадутся ли за дверью шаги, не войдут ли посыльные от государя, а то и он сам – одной ведь с ним крови, чтобы явить милость, дать долгожданную свободу. Уж как бы за его самого и потомство его Димирий стал Бога молить!

Там, в мечтах, в нетерпении, Димитрий и уснул. Чуть в окошечке забрезжил сенький свет зимнего утра, узник опять был на ногах, опять метался по темнице. Где-то во граде всё так же радостно, ликуя, трезвонили колокола, но не шёл тот, кого он ждал, и вести не подавал.

А на третий день с утра снаружи нависала обычная зимняя тишина, изредка нарушаемая сиротливым звяком одинокого колокола к началу службы в монастырском храме, стылым хрустом шагов монашествующей братии по заснеженной тропинке, голодным брехом псов.

Появился молодой стражник, сменил хмурых молчунов, и то с сочувствием поглядывающих в эти дни на узника. Страж был удручен, невесел, и Дмитрий, бросившийся к нему, чуя худое, замер на полдороге.

– Уехал государь в Москву, – тяжело ронял страж, потупив взгляд. – Стоял на службе здесь в монастыре, а о тебе, отче, и не вспомянул. Как нету тебя и не было!

Дмитрий зашатался, упал ниц перед иконой, содрогнулся от несдерживаемых рыданий:

– Господи, тяжек крест ты на меня возложил! Мир не вспомнил обо мне, но и я забуду теперь об уладах и прелестях мирских, коих возжаждал! Одно упование на тебя у меня осталось! И прошу, Господи Иисусе, не карай тяжко обидчиков моих!..

Стражник во все глаза смотрел на затихшего, распластанного по полу старца и шептал еле слышно:

– Обет даю, отче... Уйду в монастырь, грамотешке меня тятенька обучил, опишу житие ваше с братом во славу Божию...

Леонид Кирчик

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ

ЧЕРЁМУХА

Из-за угла пятиэтажного кирпичного дома, что наискосок через улицу, торчит белый бок цветущей черёмухи. «Надо же, – подумал я, – много лет по несколько раз в день смотрю в окно, а черёмуху эту, выглядывающую из-за угла, вижу впервые. Как же так?» Не утерпел, пошёл посмотреть на цветущее дерево. Спустился вниз по лестнице с четвёртого этажа, вышел из дома, пересёк улицу, заглянул за угол. А там – небывалая красавица – ровная, раскидистая, вся в белых хлопьях, ствола и листьев не видно. Поднялась до четвёртого этажа, склонилась над балконом, положив тонкие веточки на перила. Задумалась, словно невеста перед венцом.

Как же ты расцвела, милая, глаз не оторвать! Смотрю снизу вверх и мне кажется, что черёмуха смотрит на меня.

Полюбоваться красотой вышла на балкон девочка лет двенадцати – сама как цветочек, в белом в горошек платьице. Воткнула нос в душистые соцветия – дышит, закрыв глаза.

Увидала, что я смотрю на неё, засмушалась, зашла в квартиру. Потом вышла, опять посмотрела на меня. Потрогала нежные белые кисточки, прижала их к лицу.

Все дни, пока цвела черёмуха, я приходил к ней. Обходил вокруг, разглядывал, а затем садился рядом на лавочку и дышал нежным ароматом.

Несколько раз я видел на балконе девочку. Она тоже любовалась цветущей красавицей и с улыбкой поглядывала на меня сверху.

Через десять дней черёмуха отцвела, осыпалась и уже не белым, а зелёным боком торчала из-за угла. Я перестал её навещать, но каждое утро поглядывал из окна на зелёный бок.

Осенью бок стал бордовым, и я ещё раз ходил посмотреть на дерево.

Время летит незаметно. Зима с шага перешла на рысь, весна побежала ещё быстрее. Вот и сосульки с крыш попадали, ручейки отшумели, асфальт высох. Вместе с белоснежными облачками приплыли издалека солнечные радостные деньки. Прошёл год.

Майским погожим днём в хорошем настроении я быстро шагал по улице, обгоняя попутных прохожих и увиливая от столкновения со встречными.

– Здравствуйте! – раздалось рядом.

Я резко остановился. Передо мной стояла девочка с балкона. Она улыбалась, а глаза её смеялись.

– Черёмуха расцвела, а вы что-то не приходите, – произнесла она шаловливо, растягивая слова.

– Уже расцвела? – воскликнул я. – Как же я прозевал? Обязательно приду.

– Приходите, приходите, – протянула девочка лилейным голоском.

Вернувшись к себе в квартиру, я глянул в окно. Из-за угла дома торчал белый бок цветущего дерева.

Наутро я навестил черёмуху. Обворожительная, вся в белом стояла она, затаив дыхание.

С восторгом оглядывал я её со всех сторон, дотрагивался до цветущих веточек, прижимал их к лицу, втягивал носом чудесный аромат. А с балкона глядела на меня озорная девчонка.

МГНОВЕНИЯ ИЮЛЯ

Я сидел на лавочке в тени своего деревенского домика и смотрел на раскалённую солнцем улочку; она была пустынна; даже воробьи и куры попрятались от невыносимого июльского зноя.

Делать что-либо в такую жару, когда в тени – плюс тридцать восемь, было невозможно. Я сидел, смотрел и ждал, когда зной спадёт.

Под вечер ко мне пришёл неожиданный гость; он был крепко навеселе, шумел и громко смеялся, потом сел на ступеньку крыльца и пригорюнился, обхватив голову руками.

Я понял, зачем он пришёл, налил ему стакан наливки. Он выпил, поблагодарил и ушёл.

В дом идти мне не хотелось, и я продолжал сидеть на лавочке.

Между тем день сменился вечером, солнце скатилось вниз, притухло; дышать стало легче; стена дома окрасилась в нежный малиновый цвет.

Вдали, на фоне гаснущей зари, показалась летящая птица, на большом расстоянии от неё – другая. Вторая птица махала крыльями значительно быстрее первой, стараясь нагнать собрата. Она, видимо, боялась отстать, остаться в темноте одна и поэтому спешила. По полёту я определил, что это галки.

Из любопытства я остался сидеть на лавочке и дальше, стал наблюдать, как на смену вечеру идёт ночь, как всё вокруг меняется.

Сумерки сгущались. Враз покинули небо и умчались куда-то резвые стрижи. Застенчивый месяц раскраснелся, опустился ниже макушек деревьев. Рыхлая его фактура, смахивающая на дольку переспелого арбуза, доплыла до горизонта, задержалась, помаячила красным таинственным огнём и пропала из виду.

Внизу, на земле, уже трудно было что-либо различить. Предметы расплывались, теряли свои очертания и как будто передвигались с места на место... Но небо на западе ещё светилось. В его свете хорошо было видно, как спешат куда-то ночные мотыльки, как, вихляясь, стремительно проносятся летучие мыши...

Мимо меня, не спеша, с тихим жужжанием пролетел, словно проплыл на воздушной волне, важный ночной жук. Он мне почему-то представился напыщенным франтом, идущим на свидание, в цилиндре, фраке, накрахмаленной манишке и с тросточкой в руках.

Через минуту появился ещё один такой же важный жук. Сделал разведочный круг над моей головой и полетел вслед за первым.

В цветочной клумбе проснулся кузнечик. От его звонкого стрекотания у меня зазвенело в ушах. Я попробовал его изгнать, он притих, но вскоре застрекотал с новой силой.

Вечер, отстояв свою вахту, уступил место ночи. Кто-то невидимый тихо прошёл по улочке, выдав себя огоньком сигареты.

В полной темноте я оставил лавочку и пошёл спать.

Спал я сладко. Под утро мне приснился красивый сон. Будто в гости ко мне, в мою светлую просторную горницу, пришло румяное улыбчивое солнышко. Оно нежно прикоснулось к моему плечу и сказало ласковым женским голосом: «Встава-ай, а то восход просмотришь!». Я открыл глаза, но солнышка рядом не увидел. Только что-то яркое, золотистое, уходя, блеснуло в дверях. Я соскочил с кровати, бросился догонять солнышко и тут проснулся. В горнице было светло, небо на востоке румянилось.

ТРУДЯГА

Октябрьский денёк не весел. Всплакнул с утра мелким дождиком, покачал голыми ветками и задумался.

Колю дрова за домом. Ставлю чурку на чурку, взмахиваю колуном, и – бац. Я – бац, а рядом, на краю лесополосы, – тук! Тук-тук-тук! – стучит большой пёстрый дятел; строит свой зимний дом: выдалбливает дупло в старом полузасохшем тополе. Я – бац! Он – тук! Тук-тук-тук! Соревнуемся, кто быстрее закончит свою работу.

Притомившись, кладу колун в сторону, сажусь на чурку передохнуть. Дятел перестаёт стучать, смотрит на меня подозрительно. И тут же опять раздаётся громкое: Тук! Тук-тук-тук! Я сижу, а он работает. Старается опередить меня.

– И как только башка у тебя выдерживает? – говорю ему. – Передохни! Но нет. Стучит и стучит. Мягкие мелкие щепочки из-под его клюва летят по ветру, попадают мне в лицо, засоряют глаза.

Я поднимаюсь, беру колун в руки, размахиваюсь – бац! Он – тук-тук-тук!

– Зачем дятлу осенью дупло? – думаю я. – Весной – понятно, семьёй обзавестись. А осенью?

Оказывается, дятел в отличие от многих других птиц без дома жить не может. Дом ему нужен всю жизнь, а не только в брачный период. Даже в тёплую летнюю ночь он не будет ночевать под открытым небом. В осенние же ненастья, в зимние холода – тем более.

Но сколько в лесу у него домов? По-видимому, не один. Где-то же он ночует, пока строит новый? А зачем строит новый, если есть старый? Да и не такой уж он старый, если рубил он его по весне. Непонятно мне. Начинаю гадать. Может, у дятлов охота такая – строить дома по всему лесу? А может – необходимость? Настучится носатый за день-деньской, силы кончатся, голова разболится, а дом далеко, на другом краю леса, нужен ещё один, поближе. А может, строит про запас, на всякий случай? Знает, что дом его в больном дереве. А ну как оно сломается или рухнет в непогоду под напором ветра. Куда тогда деваться?

Да! Задал мне дятел задачу.

Однако устал я, намахался, пора отложить работу до завтра. Прячу колун в сарай. Дятел, видно, тоже устал, проголодался. Я иду домой, он улетаёт в лес.

Наутро встречаемся вновь. Выхожу из дома и слышу громкий стук: Тук! Тук-тук-тук!..

– Трудяга! Ты уже стучишь?

Дятел, откинув голову в чёрной шапочке, смотрит на меня хитрым глазом, заглядывает в выдолбленное отверстие и начинает тарабанить с ещё большим усердием.

Я сажусь на чурку, смотрю, как он ловко откалывает щепочки, выбрасывает их к подножию дерева.

Три дня махал я колуном, три дня рядом упорно трудился дятел. За три дня я расколол все берёзовые чурки, за три дня дятел выдолбил себе надёжное жильё. Закончив работу, он выбросил последние щепочки, выбрался наружу, оглядел свой дом и, взмахнув чёрными в белую крапинку крыльями, с победным криком улетел в лесную чашу.

В декабре я решил проверить, живёт ли мой приятель в новом доме. Оказалось, живёт. Утром он улетал в лес на кормёжку на целый день, а вечером возвращался. Темнело, и он появлялся. «Кик! Кик!» – извещал он о своём прибытии и сразу нырял в круглое отверстие.

По вечерам я караулил его, стоя в нескольких шагах от старого тополя. Мне хотелось узнать: ночует он в одном месте или в разных.

Все вечера, что я стоял в карауле, дятел исправно появлялся у дупла и ночевал в нём. Но в один буранистый вечер он не прилетел. «Значит, заночевал в другом месте», – решил я. И, успокоившись от мысли, что узнал истину, вернулся домой. Но дома за ужином мне в голову вдруг пришла другая мысль: день-то был буранистый, валил сырой снег, а что если дятел не летал на кормёжку, весь день просидел в своём жильё, пережидая непогоду, предпочитая лучше поголодать, чем мёрзнуть на пронизывающем ветру? Ведь могло такое быть? Конечно, могло! Наверно, так оно и было. Поэтому я его и не видел, и подумал, что он ночевал в другом месте.

На следующий день метель улеглась, и вечером я опять увидел своего пёстрого друга. «Кик! Кик!» – устало прокричал он и юркнул в дупло.

Весной дятел покинул дупло, выдолбил новое, семейное, а осенью вновь начнёт рубить зимний дом. Не может он без работы! Трудяга!

ТОПКИ

Сорок лет я не был в городе своей юности. Сорок лет не видел его людей, не ходил по его улицам, площадкам. Скучал, тосковал, но посетить его было недосуг.

И вдруг почувствовал: откладывать дальше нельзя, надо ехать.

Утром в начале июня я приехал в дорогой мне город с таким коротким и непонятным названием – Топки. Школьником я семь лет провёл в нём, жил в интернате с пятого класса по одиннадцатый включительно.

С радостью и лёгким волнением сошёл я с электрички на знакомый мне перрон и остановился. Вот они, милые моему сердцу, старые знакомые: вокзал, мост через железнодорожные пути, магазин у самой линии с народным названием «Перронка». Как часто я тут бывал! Каждую субботу после уроков шёл я по мосту на вокзал, чтобы на выходной день поездом отправиться на родной разъезд к родителям; заходил в «Перронку», покупал для младшего братишки сто граммов конфет-карамелек, каждое воскресенье вечером опять же поездом возвращался в город, шёл по мосту в обратную сторону, в интернат. Как давно это было! А как всё хорошо помнится!

Потоптавшись на перроне, зашёл в вокзал, прошёл по его залам. Планировка внутри вокзала уже не та, что была. Не стало уютного ресторанчика, газетного киоска. Билетные кассы, диваны для сидения пассажиров – и всё.

В скверике перед вокзалом раньше росли толстые тополя и дикие яблоньки-ранетки. Их сменили берёзы и ёлки. На берёзах – множество грачиных гнёзд, покачиваются на гибких ветках горластые чёрные птицы.

Из скверика прошёл я на привокзальную площадь, присел на край дивана. Площадь тоже изменилась: расширилась, обстроилась новыми зданиями, на бетонные плиты лёг асфальт. Ушла милая старина. Ушла, не вернётся. Смотрю на новое, а вижу

старое. Нахлынувшие воспоминания уносят меня в прошлое. Почему-то вспомнился школьный выпускной вечер. После бала, под утро, шумные, весёлые пришли мы на эту площадь всем классом, чтобы встретить на ней рассвет. Как громко мы смеялись! Как радовались! Как стремительно кружились в вальсе по бетонным плитам площади! Как искренне желали друг другу всяческих успехов в жизни! Тогда нам было всё нипочём, всё по плечу. Предстоящая разлука не тяготила. Мы бесконечно верили в лучшее и в то, что ещё не раз соберёмся все вместе.

Солнце взошло. Мы встретили его ликующими криками, протянутыми к нему ладонями. А потом долго прощались, обнимались и целовались. Когда же бурный порыв восторга иссяк, ещё раз пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись в разные стороны. Разошлись и уже больше никогда не встречались.

Отбросив щемящие душу воспоминания, встал с дивана, пошёл через площадь к парку. В парке тоже всё по-новому: сооружён мемориал воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, вместо старых тополей посажены молодые деревья.

Отыскал на гранитных плитах фамилии своих родственников, сложивших головы за нашу Родину. Они рядом. Фамилия одна, имена разные: Дорофей, Захар, Тихон. Дорофей Андреевич – родной брат моего деда Афанасия Андреевича.

Постоял, погрустил... Сгинули мужики. Неизвестно, где похоронены.

И интернат перестроили. Сейчас в нём мало учеников, десятка полтора. Живут в комфортных условиях. На полянах, где мы играли в футбол, построены коттеджи.

Три дня прожил я в городе, три дня с утра до вечера ходил по улицам, вглядывался в лица прохожих, искал знакомых. Мне хотелось увидеть хоть кого-нибудь, сказать: «Здравствуй! Я тебя помню. А помнишь ли ты меня?». Ходил, искал, но никто мне не встречался. Странно, ведь я знал полгорода. Может, я просто невнимателен? Может, стоит приглядываться лучше? Ведь прошло много лет, мои знакомые сильно изменились, и я просто-напросто не узнаю их? Я стал вглядываться пристальней и на меня стали подозрительно коситься.

Тогда я решил действовать по-другому: встал в людном месте у магазина напоказ – может, меня увидят и узнают. Так стоял я часа два. Люди стояли рядом, но никто ко мне не подошёл, никто не хлопнул по плечу.

Уезжал я вечером. Грусть грызла моё сердце, я так и не встретил ни одного знакомого. А так хотелось! Хотелось поговорить, порасспрашивать...

Я вышел из дома, где снимал комнату и, прежде чем отправиться на железнодорожный вокзал, сел на лавочку во дворе. Сидел и всё чего-то ждал.

Смеркалось. Пора идти.

Я поднялся и тут услышал звуки баяна и песню:

*Вот и тополь отцвёл,
Белым пухом осыпался с веток,
Заметил дорогу,
Запорошил тропу...*

– Серёга Бусин! – подпрыгнул я на месте. – Его голос! Его песня!

Мы учились в одной школе. Он был младше меня. За толстоватую комплекцию имел прозвище Худой. Серёга любил петь. Пел дома, на школьных вечерах... Особенно обожал спевать украинские песни: «Черемшину», «Очи воложкови», «Дывлюсь я на ниво», но любимой всегда оставалась песня «Вот и тополь отцвёл, белым пухом осыпался с веток...». Он её исполнял на всех школьных вечерах. Просили учителя, просили друзья, одноклассники... И он пел. Пел с лёгкой грустью, склонив слегка голову и прикрыв глаза, аккомпанируя себе на баяне. Ему хлопали, кричали: «Бис!». И он снова пел, спокойно выслушивал одобрительные возгласы и только чуть-чуть улыбался.

Песня выпрыгнула из-за угла дома вместе с вынырнувшим невысоким плотным мужичком средних лет, каким обычно дают прозвище Чикенчик.

Крепко подпитый, с разбитым носом, синяком под глазом, в порванной на груди рубашке, с баяном в руках, он шёл, оступаясь и покачиваясь, устремив замороженный пьяный взор вперёд. Кровь из разбитого носа сочилась, но он её не утирал. Побитый, но гордый, прошёл мимо, чеканя слова и дёргая меха баяна:

*Я тебя не виню,
Нелегко ждать три года солдата,
А друзьям напишу –
Ты меня дождалась.*

Прошагав по двору, мужичок приостановился, покачался, скрылся в крайнем подъезде дома. Вместе с ним ушла и песня.

Ещё какое-то время я продолжал стоять; потом сдвинулся с места, окинул взглядом опустевший притихший двор и пошёл на вокзал. Мне было досадно, что так быстро закончился «концерт» во дворе и что песню пел незнакомый мне мужик, а не Серёга Бусин.

ВСПОМИНАЯ ТОМСК

СТРОИТЕЛИ

Томск – единственный большой город, где мне довелось жить.

Туда восемнадцатилетним юношей сразу после окончания школы приехал я искать работу в середине лета 1966 года. Устроился учеником каменщика в строительное управление № 13. Прожил в городе семь лет.

Почему выбрал Томск, а не Кемерово, до которого было рукой подать? Потому что Томск – студенческий город, а я со временем мечтал стать студентом.

Навсегда запомнились первые шаги по томской земле.

Знойным днём сошёл я с поезда на раскалённый перрон, взглянул из под-руки на старенький захудалый железнодорожный вокзал с поблёкшей вывеской на крыше «Томск – 1», на встречающих, отъезжающих, и мне стало тоскливо – что ждёт меня в этом незнакомом городе? Впервые я уехал так далеко от родного дома. Но тут же воодушевился. Меня приободрили туристы, толпой стоящие у кучи пузатых рюкзаков, наваленных на асфальт, жующие сдобные булки и напевающие под гитару:

*Я волнуюсь, а ты спокоен,
Расстаёмся не до седин.
На прощанье махни рукою,
Томск-один, Томск-один...*

С вокзала поехал я на улицу Усова, разыскал студенческое общежитие политехников, в котором жил друг детства, студент второго курса механического факультета Саня Серов, остановился на время у него. В трудовой семестр Саня с однокурсниками занимался ремонтом общежития.

В комнате кроме Сани жил студент третьего курса, будущий депутат Государственной Думы, Владимир Бауэр и два абитуриента: Тюгай и Осколков. Больше недели провёл я вместе с ними. Днями в поисках работы ходил по городу, читал объявления на столбах и заборах, а по вечерам вместе с новыми знакомыми играл в футбол на пыльном пустыре возле столовой «Радуга».

В один из футбольных вечеров на пустыре случилась неприятность. Серов за свои деньги купил дорогой ниппельный мяч. Мы тут же решили его обновить. Компанией пошли на пустырь. Мощный Бауэр шагал чуть впереди, нёс мяч на ладони, бережно, как реликвию. Он же и нанёс по нему первый удар. Мяч взлетел высоко, ударился о землю, отскочил в сторону к стоявшему у бровки парню с велосипедом. Тот схватил его, сунул в багажник и бросился наутёк.

Первым пришёл в себя Бауэр. Грохоча шипами буте по асфальту, он кинулся вслед за хищником. Хищник ускользал, и тогда Бауэр схватил лежащую на пути половинку кирпича и запустил её в мерзавца. Половинка ударила в заднее колесо, велосипед завалился, гнусный вор не удержал равновесия, шлёпнулся на асфальт, мяч выскользнул из багажника, отлетел в сторону. Хана была бы мерзавцу, если бы Бауэр схватил его. Но он не успел добежать. Взыв от страха, вор успел подняться, вскочить на велосипед и дать дёрну.

– Вот сволочь! – рычал Бауэр, как разъярённый лев, поднимая мяч. – Ушёл, паскуда!

Определившись с работой, я перебрался на улицу Колхозную, поселился в новом, только что отстроенном, пятиэтажном общежитии строителей.

Улица Колхозная – край города. Сразу за общежитием – огромный пустырь, заросший крапивой, полынью, коноплём... Пустырь пересекала узкая тропинка, ходить по которой даже ясным днём было неприятно. Отвратительные хищные небритые лица поднимались над высокой травой и тут же прятались, опускались в заросли.

Вселился я в двухместную комнату гостиничного типа № 38 на третьем этаже. Вселился первым. Через три дня в комнате появился второй жилец – плотник Зинул Романцевич, невысокий полноватый белорус двадцати восьми лет. Человек гордый и вспыльчивый, он мог накричать на кого угодно. Я старался его не провоцировать, и мы с ним не ссорились.

Спустя полгода Зинул Романцевич женился, ушёл из общежития и ко мне подселили ровесника – Писаревского Николая. Работал он бетонщиком в строительном управлении № 2. Скромный поначалу Николай, уйдя из-под опеки родителей, почувствовал свободу, стал выпивать, всё больше, больше...

Получку пропивал за четыре дня, аванс – ещё быстрее. На работу ходил голодным. Я предлагал ему деньги, но он не брал: «Всё равно пропью!». Ходить вместе со мной в столовую тоже отказался.

– Ты покупай мне булку хлеба на день, и всё. Потом рассчитаемся.

Вечерами я покупал ему хлеб. Он приходил с работы, наливал в чайник холодной воды из-под крана, ставил его на стол, садился, откусывал от булки кусок, склонялся над чайником, тянул из носика воду. Вновь откусывал от буханки и тянул воду из чайника. Так за раз съедал булку хлеба и выпивал чайник воды. Утром опять шёл на работу голодным, а вечером ел хлеб и пил воду из чайника.

Получив зарплату, рассчитывался со мной за хлеб, остальные деньги пропивал. Всё начиналось сначала. В таком режиме прожил он несколько месяцев, пока не попал в медвытрезвитель на пятнадцать суток. Вернувшись, сказал: «Пить больше не буду!». И слово своё сдержал. Больше пьяным я его не видел. Через два месяца он радостно сообщил мне: «Знаешь, я уже две новых рубашки себе купил».

В мае 1968 года я проводил Николая в армию.

После службы он приезжал в Томск, разыскал меня в студенческом общежитии. Потом уехал в Новосибирск, поступил в институт связи. В 2012 году нашёл меня по интернету в «Одноклассниках», сообщил, что двадцать лет прожил в Молдавии, сейчас живёт в Москве.

...Мой первый рабочий день выпал на среду. Объект, на котором мне предстояло работать, назывался «Больничный городок». Располагался он рядом с Лагерным садом. На трамвае № 1 доехал я до остановки «Красноармейская», пошёл дальше по улице Красноармейской пешком.

В летние месяцы каменщики выходили на работу раньше установленного времени, работали весь световой день. Когда я подошёл к объекту, то увидел всю работу людей, услышал скрип башенных кранов, возгласы «майна», «вира» и громкое пение. Кто-то распевал наверху:

*Человек придумал песню
И слова такие в ней,
Словно было всё известно
Человеку обо мне...*

Я задрал голову. На третьем этаже строящегося корпуса работал, энергично укладывая кирпичи в стену и постукивая по ним мастерком, парень, по пояс голый, загоревший, с красной косынкой на голове. Он пел так громко, азартно, что прохожие останавливались послушать.

Я тоже остановился, поглазел, послушал и пошёл искать мастера Харевского, к которому меня направил начальник отдела кадров Алексеев.

Позже я познакомился с этим громкоголосым кипишным парнем в красной косынке с огромными яростными глазами. Звали его Иван Марарэску. Он был молдаванин, работал в бригаде Бреннера, известного на весь город строителя.

Харевского я нашёл в вагончике. Он сидел за столом, говорил кому-то по телефону: «Кирпич кончается! Срочно вези! Срочно!».

Положив трубку телефона, Харевский глянул на меня.

– Мне уже звонили из отдела кадров, – сказал, – пойдёшь в бригаду Киселёва.

Вадим Харевский был молод – двадцать шесть лет от роду, среднего роста, русский, худощавый, привлекал своей выдержкой и простотой. Харевский был холост и позже мы с ним вместе не раз ходили на танцы в городской сад.

Бригадир Анатолий Киселёв – ровесник Харевского – принял меня с улыбкой, выслушал биографию, сказал, показав пальцем на молодого человека, стоящего рядом солдатиком: «Работать в паре будешь с ним, с Юрой Дергачёвым. Он знает всё и всему тебя научит». Дергачёву было всего двадцать восемь лет, и мы с ним быстро сдружились.

Юра родился весельчаком, шутками и прибаутками так и сыпал, а когда Юра начинал чистосердечно рассказывать про свои незадачливые любовные похождения, вся бригада валилась от хохота. Простой был парень, но в долг никогда никому давал и рубля. Ни брату, ни свату, ни отцу родному. Просящему говорил строго: «У меня нет лишних денег! Работай! Зарабатывай!». В бригаде все знали: просить у Дергачёва бесполезно и не просили. Не даст, даже если на колени станешь. Почему он так себя вёл – никто понять не мог.

Через месяц после меня в бригаде появился ещё один новичок – Пётр Тудвасов, шуплый паренёк маленького роста. Дергачёв ворчал: «Кого взяли? Метр с кепкой! Какой из него работник?». Бригадир улыбался: «Посмотрим...». Озорным оказался Пётр Тудвасов, безотказным. Вскоре и Дергачёв к нему подобрел, стал брать в напарники.

Тудвасов бредил Высоцким. Шагая на рабочее место, он часто держал лопату как винтовку при штыковой атаке, напевая: «По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр»...». От него, наверно, я впервые услышал о Высоцком. Вслед за Тудвасовым пришёл в бригаду Анатолий Жук – рослый, сверхтемпераментный парень девятнадцати лет. Говорил он много, запальчиво, во весь го-

лос, не стесняясь и не замечая окружающих. Где Жук – там кипение страстей, вихрь и буря. Человек правильный, прямой, он не терпел пересудов и обмана; два раза не думал, вспыхивал как порох, лупил словами. Жук от природы был не способен на предательство, всегда кого-то выручал, выгораживал. С ним смело можно было идти в разведку.

Летом, после окончания вечернего отделения строительного института, ушёл из бригады Саша Петухов, занял должность мастера. Вместо него взяли Тихонова Бориса – парня-крепыша с побережья Оби. Борис быстро вписался в коллектив, привозил из родных мест солёную стерлядку. По такому случаю бригадир посылал кого-нибудь с трёхлитровой банкой в киоск за разливным пивом. В обеденный перерыв садились кружком, тянули пиво, ели стерлядку, хвалили Бориса. Он улыбался, обещал привезти осетра.

Бригадир Киселёв был терпелив, рассудителен, смел с начальством. Это импонировало. Обращались к нему просто – Бугор. Кроме того, бригадир обладал чувством юмора и работать с ним было легко. Бригада под его руководством всегда была в передовиках.

В строительном тресте имелась любительская футбольная команда «Строитель», принимавшая участие в играх на первенство города. Одно лето я играл за эту команду. Из ребят, с кем довелось поиграть за «Строитель», помню лишь Валеру Евстифеева, Саню Драничникова, капитана команды Владимира Бобанцева по прозвищу Боб и вратаря осетина Алана. Состав команды менялся часто, имена остальных игроков стёрлись в памяти.

На игры команды мастеров «Торпедо» ходил постоянно. До сих пор помню игроков, игравших в те годы: Сергей Демерджи – вратарь, братья Анатолий и Владимир Ченцовы, Валерий Боровик, Иван Иценко, Ариф Аббасов, Владимир Куц...

Однажды со мной произошла смешная история. Будучи студентом четвёртого курса, пришёл я на футбол. В кармане – ни копейки. Стал просить контролёров (двух пожилых людей, стоявших у входа), чтобы пропустили без билета. Те ни в какую: «Бери билет и всё тут». «Денег нет, – говорю, – студент». «А нам какое дело? – отвечают. – Нет денег – валяй домой!». А матч предстоял интереснейший, с «Кузбассом», извечным соперником томичей. Так хотелось посмотреть. Стою, упрашиваю.

Вдруг вижу: из группы парней, только что пришедших на стадион и слышавших мою мольбу, отделился один, подбежал, схватил меня за руку, стал затаскивать в ворота, тараторя на ходу:

– Вы чё его не пускаете? Это наш парень! Из группы подготовки! Сейчас же пропустите!

– А ты кто такой? – заартачились старики.

– Вы чё, меня не знаете? Я – тренер! – заявил парень и втащил меня на стадион.

Пока старики соображали, что к чему, я затерялся среди парней.

Потом мы весело хохотали: в группе подготовки играют пацаны, а мне уже 23 года.

... Строители постоянно кочуют по городу. Построили дом в одном месте, начинают строить в другом. Мне повезло: я все два года отработал на одном объекте, на «Больничном городке».

Кроме друзей из бригады, были у меня и другие друзья – строители: молчаливый стекольщик Лёня Ли и словоохотливый, любивший прихвастнуть, электросварщик Витя Толкачёв. У Виктора я был свидетелем на свадьбе, а потом, весной, провожал его в армию.

В августе 1968 года я покинул бригаду – поступил в Томский государственный университет. Начальник отдела кадров управления Алексеев уговаривал меня посту-

пать в строительный институт, но я не пожелал, решил стать экономистом. С Харевским, Ли, Тихоновым, Тудвасовым, Толкачёвым, Дергачёвым, Марарэску больше не встречался. Жук был у меня в студенческом общежитии один раз.

С бригадиром Киселёвым встретился лишь однажды, через три года.

В сентябре среди дня ехал я на трамвае номер один. На остановке «Дзержинка» в трамвай вошёл Киселёв. Был он в рабочей робе, резиновых сапогах, неизменном чёрном берете. По всей видимости, он заходил по делам в управление, оно находилось рядом с остановкой в жилом доме на первом этаже, и теперь возвращался на объект. Глянул на меня, достал из кармана деньги, бросил монету в кассовый аппарат, выбил билет, сунул его в карманчик робы.

На сиденье возле меня было свободное место. Думал, он подойдёт и сядет рядом, а он стал в сторонку.

– Бугор! Ты не узнал меня? – подошёл я к нему.

– Узнал, – устало улыбнулся он.

– Почему не присел рядом?

– А может ты говорить со мной не хочешь? – ответил он. – Ты ведь как ушёл, так бригаду ни разу не навестил. Все приходили, а ты нет. Студентом университета стал, вознёсся...

Мне стало неловко.

– Прости, Бугор!

Он хмыкнул: «Да ладно уж!»

– Что строите сейчас? – спросил я.

– Жилой дом на проспекте Фрунзе. Скоро перейдём на улицу Льва Толстого.

– А кто в бригаде из прежних ребят работает?

– Тихонов, Жук, Дергачёв, Перебеев, Чураков, Скрыбин... – перечислил он.

– А Тудвасов?

– Тудвасов в политехническом институте учится. Прошлым летом поступил. На той неделе приходил.

– А Карандашов?

– Карандашов – начальник участка. После защиты диплома быстро продвинулся. Скоро Жук с Тихоновым уйдут. Вечерники. На четвёртый курс перешли.

У Дома учёных я вышел из трамвая, помахал бригадиру рукой. Он улыбнулся, махнул мне в ответ.

БЛОНДИН В БЕЛОМ

Странно устроена наша память: что-то хранит долго, что-то вообще не хранит. Порой мимолётный взгляд прохожего, мимолётная встреча с незнакомцем на улице помнятся всю жизнь, стоят перед глазами как фотографии, а важное событие вспоминается с трудом, в общих чертах или вообще уходит бесследно. Почему так происходит? В чём причина? Годы проходят и не запоминаются, а пустяшные мгновения врезаются в память навсегда.

Одна такая пустяковина произошла со мной в Томске в июне 1968 года. Сорок пять лет прошло, а она всё держится в памяти в мельчайших подробностях, будто вчера это было. И всякий раз я вспоминаю её с улыбкой и удовольствием.

Я готовился к поступлению в университет, дни и ночи просиживал за учебниками, дорожил каждой минутой. Но, как истинный любитель футбола, не мог не посмотреть финальный матч чемпионата Европы между командами Италии и Югославии. В обеих командах играли знаменитые на весь мир футболисты. У итальянцев – Факетти,

Маццола, Доменгини, Прати; у югославов – Тривич и любимец всех болельщиков мира – реактивный Драган Джаич.

Матч начинался по нашему времени в половине третьего ночи.

Единственный телевизор в рабочем общежитии строителей, где я жил, вышел из строя, и я лихорадочно решал, где бы мне посмотреть матч.

Знакомые парни жили в общежитии резиновой фабрики, и я направился к ним.

Великолепная была игра: высочайший темп, прекрасные комбинации, точные удары по воротам, самоотверженные броски вратарей... Югославы играли лучше, имели больше моментов, но итальянцам везло больше.

Матч закончился вничью, со счётом один-один. Через день предстояла переигровка.

По окончании игры мы ещё с полчаса горячо и восторженно делились впечатлениями, а потом стали расходиться: парни по своим комнатам, а я пошёл на трамвайную остановку «Площадь Батенькова» поджидать первый трамвай.

Было начало шестого. Пустынные улицы ещё дремали, ни машин, ни людей.

Мне хотелось спать. Я присел на лавочку и в задумчивости смотрел на розовые солнечные блики на стенах домов, на прыгающих по асфальту воробышек...

Солнце поднималось всё выше, ласковые лучи его грели всё сильнее, глаза слипались.

– Спички есть? – спросил меня кто-то вежливо.

Я повернул голову. Рядом стоял элегантный блондин лет двадцати пяти с добрыми глазами, выше среднего роста, в белых брюках, белой рубашке с коротким рукавом, белых ботинках, белом галстуке, с незажжённой сигаретой в руке. Он был навеселе.

– Спичек нет, – ответил я.

Парень мотнул головой.

– Обидно! – проговорил. – Сигареты есть, а прикурить не от чего. Ну ладно! Обойдусь! До дома не далеко. С банкета иду. Диплом обмывал. Университет закончил, а – дурак дураком!

Парень расхохотался.

– Такого не может быть, – сказал я. – Человек, окончивший университет, не может быть дураком.

– Может! – весело произнёс блондин. – Ещё как может!

Он опять расхохотался. Махнул рукой и не спеша побрёл по пустынной улице.

Я смотрел ему в спину, пока он не скрылся за углом дома.

С той поры много воды утекло, а мне всё помнится то раннее прекрасное июньское утро, ласковое солнышко, трамвайная остановка, прыгающие по асфальту воробышки и блондин в белом, так запросто сказавший о себе: «Университет закончил, а – дурак дураком!».

Александр ЛУГОВСКОЙ

В ЗИМЕ ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ВЕК

Колпашево

Что мне дорого, пожалуйста, не спрашивай,
Не пристало говорить об этом вслух.
По асфальту улочек Колпашева
Ветер гонит тополиный пух.
В наши дни из лет минувших тянется
Памяти серебряная нить.
В час, когда он только просыпается,
Я люблю по городу бродить.
И мне хочется приметы и обычаи
Записать, запечатлеть на память, впрок –
Яра неприступное величие
И скупой кержацкий говорок.
А мгновения проносятся, гонимые
Колыханием седой обской волны.
И сквозит печаль невыразимая
В ликах уходящей старины.

Тогур

Горел над Тогуром рубиновый рассвет
И таяли таинственные тени.
А я – мальчишка, мне лишь десять лет, –
Во все глаза глядел на дня рождение.
И впитывала чуткая душа –
Стихийно, неосознанно, на ощупь:
В яслях телята сено ворошат,
И женщины с мостков бельё полощут.
Проснулся, загудел лесозавод.
Афиши «Октября» пестрят: премьеры!
А на дворе – восьмидесятый год.
И в будущее – столько сладкой веры.
Как хочется, раздвинув ворох лет,
Вернувшись в это памятное лето,
Помчаться, оседлав велосипед,
Навстречу небывалому рассвету...

* * *

Такое бывало и раньше
И, может быть, будет потом:
Кудрявый болезненный мальчик
Играет на кухне с котом.
В тарелке – куриная ножка.
У мальчика снова бронхит.
Шкворчит в сковородке картошка.
Отец о заначке молчит.
Опять беспокоится мама
И сбор наливает грудной.
А мальчик мотает упрямо
Кудлатой своей головой.
И снова с щенячьей тоскою,
Опавшей листвою шурша,
В пальтишке немодного кроя
Пиликает скрипка-душа.
И кто-то бросает монету
Из форточки в пористый снег.
Как странно, наивно всё это –
В зиме заблудившийся век.
...На выцветшем фотоснимке
И не угадаешь уже,
Как тает в морозистой дымке
Такой немудрящий сюжет.

Спецпереселенцы

Бабушке моей К.П. Волокитиной

За неприступным частоколом леса –
Бараки, утонувшие в грязи.
Поведай, Боже, приоткрой завесу,
Чем новый день отверженным грозит.
Медвежий угол, край болот и гнуса
(Про дом родной навеки позабуди).
По бесконечным просекам тянулся
Суровых дедов наших скорбный путь.
Качает ветер лапы сонных елей.
Мерцают по болотам огоньки...
А деды наши выстоять сумели
Совсем не за идею – вопреки.

Сентябрь

Гадает невпопад прогноз погоды.
И городок на глиняном бугре
Цветистой графоманией природы
Разбудоражен в шалом сентябре.
Страницы дней волна перелистала,
Нисколько не печалась о былом.
С натугой оттолкнулся от причала
И в путь пустился труженик паром.
Шумит вода. Теперь и дом, и пристань,
И лето – бесконечно далеки.
А на ветру кружат, кружатся листья –
Несбывшихся надежд черновики.

Кому за тридцать...

В ДК народ играет и резвится.
Вспотел затейник и охрип баян.
В ДК сегодня клуб «Кому за 30».
ДК сегодня возбужден и пьян.
Соотношение полов – как в старой песне.
На сильный пол всё тот же дефицит.
Супруги же, сюда явившись вместе,
Имеют отчуждённо– гордый вид.
Шлейф от духов и яркая помада,
Псевдо-карден и лже-ив-сен-лоран.
Горит полу-надежда в женских взглядах
И теплится в душе самообман.
В ДК народ играет и резвится,
Хоть знает каждый, что наверняка
Карета в полночь в тыкву обратится,
А дома ждет зеленая тоска.
Всё это будет, после... А пока
Гудит веселье в стареньком ДК.

* * *

Тает снег... Прорастает зерно...
В душном сумраке возятся мыши.
О, как хочется знать
То, что знать не дано:
Сколько дней нам отпущено свыше,
И какая тропинка заводит в тупик,
Где печальная цепь музыкантов?
Ведь небрежно написанный черновик
Остается – без вариантов.

Анастасия КОШЕЧКО (Антохина)

И ПРИОТКРЫЛОСЬ МИРОЗДАНИЕ...

Руками в волосы – до боли,
До крови крылья – о стихи.
Лететь и падать – лишь до поля,
Где травы зелено-тихи.
Лететь и биться о пространство
И ждать от осени весны,
От непоседы – постоянства,
От милосердия – тиранства...
Лететь – сквозь яви и сквозь сны!
Лететь, лететь – до боли в крыльях,
До хруста вытянутых жил,
До губ, зажатых от бессилья,
И до всего, чем горек мир!
И дрожь в коленях не от страха –
От ощущения вины.
...И давят шапкой Мономаха
Некоронованные сны!..

Не хотела тебя провожать
И просила земные дороги
Удержать эшелон, удержать
На пороге судьбы и тревоги.

Я руками тянулась к кресту,
Целовала солёные слезы...
Я тебя на руках унесу
Сквозь пургу, но ответили: «Поздно!»

Погодите минутку, прошу!
Только рельсы легли меж нами.
«Не пуцу, не пуцу, НЕ ПУЩУ!» –
Стук колёс за туманом замер...

Медный маятник часов
Грустно вечность отмеряет,
И дочурка засыпает,
Повзрослевшая, без снов.
У кровати я стою,
О минувшем не поётся...
«Папа твой домой вернётся...» –
Песню дочери пою.

Обветшали терема,
обветшали.
Мало в горнице тепла,
мало света.
Настежь двери распахну
и стихами
К красну солнышку пойду
за советом.

Буйну ветру поклонюсь
у дороги...
Друг мой верный, без тебя
в мире тесно.
Мать-сыра земля, прими
все тревоги
И любовью освети
Моё сердце.

Попрошу живой воды
у криницы,
И хрусталь стечёт по листьям,
как слёзы...
В терем свой вернусь
и стану молиться
О спасении Руси,
коль не поздно.

О чём-то вечер замечтался
В разбившихся полосках света
И неумело рассмеялся
Вослед растаявшему лету.

В потоках звёзд луны мерцанье
Разлилось горечью тревоги –
И приоткрылось мирозданье
На замерзающей дороге.

Качает ветви дождь осенний,
В замёрзших лужах отражаясь,
И волшебства порыв священный
Сияет, заново рождаясь.

Над изгибами бровей –
Пустота.
Я виновней и правей
Неспроста.
В покаянии покой,
А не страх.
Ты с уснувшею слезой
На руках.
Небо в криках облаков
И дождей.
И дорога от стихов
До дверей.

Может, просто мы устали –
Чувства сделались немymi.
Мы с тобою, милый, стали
Параллельными прямыми.

Но однажды, на рассвете,
Облака земли коснутся.
И тогда прямые эти
Может быть, пересекутся...

Марина НИКИТИНА

Безмятежность

Закрой ты глаза и представь тишину,
И свет, и песок, и море, и вечер.
И тёплую, свежую, морскую волну,
Накрывающую нежно твои юные плечи.

Представь, что вдали красный солнца заход.
Дельфины, плескаясь, хвостами бьют волны.
А на горизонте плывёт пароход,
Наполненный чувством запретной свободы.

А в небе, как вата, плывут облака,
Плывут, словно в страхе, что их вдруг догонят
Те птицы, которые взмахом крыла
Тревогу, печаль и невзгоды прогонят.

И ты среди этой земной красоты,
Купаясь в волнах, всё же ищешь свободу.
И не для кого-то её ищешь ты,
А чтобы найти в бесконечность дорогу.

Казалось бы, сильные духом.
Казалось бы, все нипочём.
Но знаю, не только старухам
Прощанье даётся с трудом...

И слов не сказать, словно комом
Забаррикадирован рот.
И лучше быть незнакомым
С теми, кто скоро уйдет.

Солнце застелет небо
Яркою простынёй.
Чтобы согреть. А мне бы
Не опоздать домой.
Не пропустить момента
Прикосновения рук.

Хочется как у неба,
Чтоб в теплоте... Без мук.
Нежной ладонью гладить
Тех, без кого нельзя.
Ради кого мы с вами
Можем забыть себя...

Это было на балконе.
Мы стояли и пили
Вино.
И глаза мои не забыли
То единственное
Окно.
Звуки музыки на рояле,
Доносящиеся
Во тьме.
Вы меня тогда поменяли,
Не задумавшись
Обо мне.

И в мелькающих мимо лицах
Я увидела лишь
Одно,
От которого мне не спится,
Но которому
Всё равно.

Я глаза отводить не стала.
Мне приятней смотреть
Порой.
И неважно, что не достала
Сквозь окно я до вас
Рукой.

Николай КОНИНИН

Банька

Дедова банька, да в ноги порог.
Банька отцова – парок в потолок.
Сброшу одежду, нужду и вражду.
Снова, как прежде, я в детство войду.

Хмеля малёхо на камни плесну,
Словно я в счастье закинул блесну.
Щука Емелина плещет хвостом.
Веник берёзовый хлещет листом.

Уши сердито мне жар теребит.
Рядышком батя на лавке сидит.
Мама «рябину» поёт за окном.
В печке невзгоды сторают огнём.

В тазик студёной воды зачерпнёшь,
Десять несчастий в судьбе зачеркнёшь.
Лёгкость такая – по небу летишь,
Все ещё живы, а сам ты малыш.

Выйдешь из баньки – и небо искрой,
Жизнь там записана бати рукой.
Звёздные строчки отыщешь свои.
Сыплются буквы, читать их лови.

Конь, да топор, да и чарка вина,
Дочка и сын, и по сердцу жена,
В поле дорога и брат за плечом,
И не жалею никогда ни о чем.

Глянешь на улицу – в окнах покой,
Брат на пороге стоит за тобой.
Воздуха радости в грудь наберёшь,
Самое главное в жизни поймёшь.

Дедова банька – души разговор,
Банька отцова – судьбы приговор.
Банька моя, поднебесный полук...
Жар не остыл, да и срок не истёк.

Мариночка

Поздравляли двадцать третьего мужчин.
Пусть они не воевали – всё равно.
Но застыла на углу среди картин
Одна женщина с лицом, как полотно.

В тесном креслице у краешка стола
Тихо песенку Мариночка поёт,
Как война из автоматного ствола
Брата с мужем от неё в Афган ведёт:

«Не сидела бы я, девушка, у вас,
На углу стола сейчас никак нельзя,
Но пришла беда ко мне в недобрый час,
Навсегда тогда ушли мои князья.

Побежала я за ними по горам,
А навстречу мне князья, да не они,
Все колечки-перстеньки тебе отдам,
Золотых моих князей назад верни.

Русы косы по щекам, да всё плетью,
Ноги босы камни-горы красят в кровь,
Насовсем меня, война, к себе возьми,
Только дай своих разок увидеть вновь.

Чёрной тучей я ущелье пролила,
Ледяную растопила криком мглу,
Никого война домой не привела,
Не садитесь за столом вы на углу».

Дмитрий Иванов

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Поезд тронулся, и городская жизнь, прощально качнув вокзальными фонарями в окне вагона, пропала в темноте... Пока дед с бабушкой устраивались в купе, Пашка, ещё не достававший ногами до пола, сидел у этого окна и с замиранием сердца смотрел в несущуюся навстречу ночь, в которой ничего, кроме отраженной в стекле тусклой вагонной лампы, не было видно. Лишь время от времени из неё чертями выскакивали какие-то огни и, коротко сверкнув, вновь пропадали в темноте. Где, по какому тридевятому царству шёл поезд – кто знает? Но Пашка знал, что за этим ночным царством, в конце пути, есть другое царство – с лесом, речкой и чудесной деревней Спасское, где их ждала другая его бабушка – Катерина Ивановна. Он почти не помнил, как его возили к ней позапрошлым летом, но тогда он был еще маленьким. А сейчас ему уже скоро пять. Он сидел и мечтал, как будет купаться в речке и ездить с бабушками по ягоды...

– Ложись спать, а завтра проснешься – мы будем уже далё-ёко-далёко, – сказал дед.

Пашку уложили на нижнюю полку одного, как взрослого, и в зыбком полусне всё вокруг наполнилось видениями. Он смутно слышал, как поезд останавливается на большой станции. На минутку открыл глаза: по стенам сумеречного купе скользили призрачные блики, за окном светилось множество огней. Стук колес затихал, его сменяла тишина, наполненная дыханием и храпом спящего вагона. Пашка знал, что это станция, которую дед и бабушка называли забавным именем «Тайга». Вдруг раздался страшный грохот и лязг, и он стукнулся лбом в стенку.

– Язвы тебя-то! – охнула бабушка.

Пашка хотел заплакать, но, вспомнив, что он уже взрослый, только потёр ушибленный лоб. Маневровый локомотив отцеплял их от старого состава и тащил куда-то на запасной путь, чтобы оставить там на несколько часов, а потом прицепить к другому поезду.

Раньше Пашка думал, что Тайга – это что-то вроде одинокой платформы в лесу, по которой ходят волки и медведи, а кругом – синие таёжные дали. Но Тайга оказалась кучей огней, и по перрону ходили не медведи, а суровые дядьки, постукивая молоточками под брюхом вагонов и жутковато попыхивая огоньками сигарок. Пашку, как магнитом, тянуло к окну, но бабушка прогоняла его:

– Паша, лежи спи, завтра насмотришься!

Он засыпал, вновь просыпался, до него доносились гудки локомотивов, плавающий женский голос, время от времени вдруг появлявшийся в этой удивительной

ночи, говоривший что-то неразборчивое. Другие радиоголоса резко переругивались, метались и насккивали друг на друга где-то в отдалении. Все они переплетались в сонной пашкиной голове, превращались в трёхлитровую банку, набитую белыми мельтешащими бабочками-капустницами.

Потом в загадочном мире, из которого доносились звуки и голоса, кто-то неподалёку начал насвистывать песенку про черного кота... Пашке страшно хотелось выйти из вагона, посмотреть, что происходит. Но в конце концов сон одолел и бабочек, и чёрных котов. Пашка заснул так крепко, что не слышал, как вагон прицепили к новому поезду, и таинственная Тайга уплыла в ночь.

Когда он открыл глаза, в купе уже играло яркое солнце, колёса поезда бодро стучали. Дед с бабушкой пили чай, золотились кольца пара над их дымящимися стаканами, за окном бежали сверкающие от росы поля и перелески. От призрачной ночи с чудными голосами не осталось и следа. И Пашка сразу забыл и о ней, и обо всей прошлой жизни, которую она отсекала.

– А-а, Павлуха проснулся, – сказал дед, лукаво глянув на Пашку. И повторил нараспев: – Павлу-уха проснулся... Вставай, уж пора завтракать.

За завтраком, прихлёбывая из стакана в массивном железнодорожном подстаканнике горячий чай, дед говорил Пашке:

– Приедем в Спасскую – пойдем в березник, нарвём душицы, будем пить чай с душицей. Помнишь, как позапрошлый год ходили? Какой у нас там бере-е-езник!

Единственное, что Пашка смутно помнил с позапрошлого лета – это березник: нечто огромное, зелёное, полное зыблущегося света и теней, и больших чёрных муравьев, которые падали за шиворот, больно кусались. Помнил, как огнём обжигал запах ладошки, когда похлопаешь по муравьиной куче, помнил красивый, как из сказки, алый цветок – Марьин корень... Быстрее бы приехать!..

Пашка немного погулял по вагону, таращась на незнакомых дяденек и тетенок, стариков и детей, которые завтракали и беседовали, играли в карты или просто лежали. Потом он поиграл, попереглядывался с маленьким мальчиком, который тоже гулял по вагону, доходил до их купе, выглядывал из-за перегородки, встречался с Пашкой глазами и тут же убегал... А потом в большом мире за окном вновь появились и начали переругиваться сердитые радиоголоса – поезд подходил к крупной станции.

– Вот уже Мариинск, – сказал дед.

Пашка поглядел в окно: словно чудовища, наплывали огромные товарные платформы с углем, длинные, как поезда, серые пакгаузы с голубыми на просторных крышах...

Объявили стоянку, дед с Пашкой пошли поглядеть на станцию, а бабушка осталась. Она побаивалась выходить – вдруг поезд уйдет без неё!

– Далёко не ходите, отстанете – я сразу умру, – серьёзно предупредила их она.

Они вышли на солнечный, наполненный бодрой вокзальной суетой перрон. У Пашки, ещё плохо понимавшего разницу между промежуточными остановками и конечной станцией, в голове началась легкая путаница.

– А мы... ещё не приехали? – спросил он, уставившись на проходящего мимо дядьку в замасленной робе, который толкал перед собой пустую тележку для чемоданов и попыхивал сигаркой. – А когда мы приедем?

– Еще далёко, – дед потрепал его по круглой стриженной голове. – Вечером приедем в Ужур, к бабе Марусе, а в Спасскую поедем завтра на автобусе...

Пашка заворуженно смотрел на огромные зелёные вагоны, на стоявшие на рельсах чудовищные железные колёса, налитые нечеловеческой мощью... Тело поезда,

казалось, уходило к самому горизонту, где сверкающая на солнце паутина рельсов и проводов почти касалась края голубого неба. Где-то там, за лежащим на этом краю одиноким белым облачком, ждали Пашку березник с алым цветком и бабушка Катерина Ивановна...

Дед взял размечтавшегося Пашку под мышки, поднял в воздух и поставил на высоченные железные ступеньки назад в вагон:

– Беги к бабе, а я пойду куплю газету.

Пашка вернулся в купе.

– Уедет поезд – будет ему газета! – недовольно сказала бабушка, когда он доложил про деда.

Пашка тоже начал побаиваться. В его и бабушкином представлении отстать от поезда было таким ужасом, что лучше уж сразу умереть. Пашка представил сцену: поезд уходит, дед остается один среди чужих людей, понимает, что они с бабушкой уехали, и прямо на перроне умирает от отчаяния. Потом в поезде умирает бабушка. Потом – он, Пашка...

Вместе с бабушкой он тревожно поглядывал в окно на снующий по перрону народ. Деда не видать.

Вот что-то пробубнил женский голос из вокзального репродуктора. Пашка с бабушкой ничего не разобрали, волновались всё больше. Вдруг от головы до хвоста состава судорогой пробежала дрожь. Они тоже вздрогнули и, словно в замедленном кино, увидели, как тронулись с места, неторопливо поплыли перрон и здание вокзала. Разом померкли солнце, летнее утро, в прах рассыпалось сказочное царство с лесом и речкой.

– Это уж чё, поехали? – бабушка глядела на плывущий вокзал, на испуганного Пашку с выпученными глазами, словно не веря в происходящее. – Дак это он где?!

Она встала, чтобы бежать к проводнику, но в купе живой-здоровый, с газетой «Известия» в руках, вошёл дед. Снова вспыхнуло в небе солнце, вернулись на свои места утро и сказочное царство.

Не вернулось лишь порушенное бабушкино здоровье.

– Вот что ты делаешь! – ругала она деда, держась за сердце. – Парнишка напугал и меня!

– Да я в тамбуре с проводником разговаривал, – оправдывался дед. – Всё, всё, больше никуда не пойду...

Бабушка пила капли, в купе стоял больничный запах корвалола и валерьянки, путешествие, на радость Пашке, продолжалось.

Огромный мир, по которому ехал Пашка, был полон чудес. Грозный, красивый поезд мчался через леса и реки, мимо Пашки проплывали раскинувшиеся, как скатерть-самобранка, разноцветные поля в дрожащем жарком мареве, уходящие к небу горы-великаны, разбросанные по ним кудрявые березовые колки. У самых колёс поезда земля вдруг обрывалась, катилась пропастью вниз, и у Пашки замирало сердце: на дне пропасти он видел тонкий шнурок змеистой речушки, тёмные пятнышки кустов. Казалось, поезд летит над ними по воздуху... А когда окно с воем и грохотом задергивали железные арки проносащегося ажурного моста, сквозь которые тусклым серебром сверкала широкая лента большой реки, Пашка испуганно отшатывался.

– Испугался? – озорно улыбался дед.

Объяснял:

– Это Кия...

Или:

– Это Чулым...

А в бескрайних далах, куда уходил поезд, на горизонте вставали, то сходясь, то расходясь, как морские волны, сказочные голубые горы.

– Это хребет Арга... Это Солгонский кряж... – говорил незнакомые слова дед.

– А Спасское – там? – спрашивал Пашка, указывая на горы.

– Там.

– А баба Катя нас уже ждёт?

– Ждёт. Напекла тебе шаньги – вку-усные! Завтра будет нас встречать.

Пашке чудилось: где-то там, на голубых горах, стоит его бабушка Катерина Ивановна, глядит из-под руки вниз – не едет ли внук Паша? А другой рукой держит жёлтую, облитую маслом шаньгу...

«Далеко живет баба Катя, вон сколько до неё лесов и гор», – думал Пашка. Он и не знал, что на земле их так много, что в мире столько станций и вокзалов, и что железная дорога – такая длинная. Она бежала и бежала, и нигде не кончалась, и на всех станциях жила одинаково невозмутимой, размеренной жизнью: посвистывала гудками, ворчала непонятной скороговоркой диспетчеров... И от неё веяло силой, спокойствием и бессонной бодростью.

Долго ли, коротко ли, но вот длинный день, вместе с рельсами убежавший из-под колёс поезда, наконец, склонился к вечеру, горячее летнее солнце ушло за горизонт, и могучая железная дорога, ободряюще подмигнув в сумерках красными огоньками, в последний раз рассыпалась диспетчерскими голосами над Пашкиной головой. Поезд прибыл на станцию Ужур.

С чемоданами и сумками, на которые не хватало рук, они кое-как выгрузились на ещё хранивший дневное тепло ужурский перрон с проросшей в трещины пыльной травой, вдохнули вечерний, пахнущий дымком, воздух.

Последней, крепко ухватившись за тамбурный поручень, тяжело сошла бабушка.

– Слау бох, думала – жива не доеду, – сказала она, почувствовав, наконец, под ногами твёрдую землю, и перекрестилась. – До сродной сестрички доехали, теперь уж дома.

– Завтра приедем – тогда перекрестимся, – поправил дед...

Они оставили чемоданы в камере хранения маленького полупустого вокзала, где на подоконнике спала толстая кошка, и налегке, с одной сумкой, пошли по притихшим, уже подёрнутым сумерками, пахнущим тёплой пылью и коровами ужурским улицам.

Пашка таращился вокруг: вот он, Ужур, про который бабушка говорит «Теперь уж дома!». Пустынная улица поднималась в гору, справа в промежутки между домами Пашка видел огромную яму, где дома и огороды сливались в сплошное, мерцавшее редкими огоньками одеяло сумерек. Оттуда доносились то приглушённый лай собак, то отдалённый треск мотоцикла, то чуть слышные девичьи голоса и обрывки песни. Пашке чудилось, что там, на дне синей ямы, затаилось гигантское живое существо, которое дразнило его и старалось напугать... Темнело, вспыхивали окна одноэтажных домишек, казавшихся Пашке сказочными разбойничьими избушками, а над их чёрными крышами стояло огромное, ещё светлое небо, и в глубине его висел тонкий серебряный месяц.

Дед с бабушкой, тяжело шагавшие впереди, остановились передохнуть.

– Дай-то бог, чтобы Маруся была дома, – сказала бабушка, тяжело переводя дыхание. – Ночевать на вокзале... парнишка и так ночь не спал... у меня голова из ума выбиват...

Пашка вдруг почувствовал тоскливое беспокойство, он устал и хотел есть.

Наконец они остановились возле одного из безмолвных домишек. Его окна за тёмным, заросшим крапивой и черёмухой палисадником тоже были темны, а над силуэтом чёрной крыши Пашка увидел одинокую, мерцающую из холодной бесконечности звезду.

– Неуж нету?! – запалённо выдохнула бабушка.

Пашке стало совсем тоскливо, он приготовился плакать. Дед толкнул калитку в покосившейся воротине – закрыто. Побрякал кольцом щеколды. Тишина, только в соседнем дворе взлаяла собака, да ветерок чуть слышно прошелестел в черёмуховых листьях.

– Марусё-о-о-оу! – закричала бабушка.

И вдруг откуда-то из-за дома донеслось:

– О-оу!... Иду-у!..

В ночи просиял свет! Через щели воротины он упал полосками на траву, потом хлынул в открывшуюся калитку. Окружённая им как нимбом в ней стояла тёмная фигура, вокруг ее головы летали светящиеся точки ночных мотыльков.

– Ах вон это какие полуно-ошники... мои-то родные... – радостно сказала фигура, и Пашка почувствовал, как от её распевного голоса сразу стало тепло и хорошо.

Он услышал громкое чмокание – фигура целовалась с бабушкой, потом с дедом.

– Слау бох, а мы уж думали – никого нет, окна темны, – говорила бабушка.

– Да я только с дежурства, в огороде огурцы поливала, ничё не слышу. А ворота уж заложил... Ну-ка, а де тут у вас... мой-то хороший...

Пашка почувствовал, как его целуют в макушку, тёплые, загорбелые, пахнущие чем-то знакомым ладони гладят по голове. Бабы Марусины руки пахли огурцами...

Через заросший травой дворик прямо по широкой полосе света, падавшего из открытых сенных дверей, они пошли в избу, точно по спасительной, раздвигавшей ночь дороге, и вокруг них танцевали огненные искры мотыльков.

В бабы Марусиной избе пахло чем-то старым и терпким: «Как у бабушки в сундуке», – вспомнил Пашка. Под низеньким потолком уютно горела яркая лампочка на забелённом известкой проводе, освещала кособокую русскую печь, стол, лавку с ведрами. Пашка увидел, что у бабы Маруси ещё молодые чёрные глаза, которые озорно поблескивали из-под низко повязанного белого платка. Она собирала на стол, дед с бабушкой сидели на лавке и вели обстоятельный разговор о домашних новостях, огурцах и погоде. Пашка сидел рядом, вертелся, тарасился на громадную белёную печь с тёмным, как пещера, устьем, прислонённую к ней забавную деревянную лопату, корзину с яйцами под лавкой... А со стены с немного расплывчатой старой фотографии в крашеной рамке на него печально глядели какой-то дяденька с закрученными усами и тётенька с чёрной косой.

– Баба, а это кто?

– Что? – повернулась к нему бабушка. – Это бабы Марусины родители. Маруся, это же как дядя Алексей с войны пришёл снимался? У тети Нюры ишшо коса кака...

– Да, а у тяти вон чуб, – улыбнулась баба Маруся.

Из-за печки, качнув цветастой занавеской, вдруг бесшумно вышел большой чёрный кот. Он глянул жёлтыми глазами на гостей, на бабу Марусю, понюхал воздух, подошел к Пашке и потёрся головой о его ногу. Заинтригованный Пашка, ещё не видавший таких красивых и компанейских котов, слез с лавки, погладил кота.

– Что, варнак, знакомиться пришел? Это мой Васька, – представила кота баба Маруся.

Васька немного посидел, встал и неторопливо пошёл в дверной проем за голубенькими занавесками, который Пашка заметил только сейчас. Пашка – за ним.

Они с котом оказались в маленькой комнатке. На двух окошках – чистенькие тюлевые занавески и горшки с цветами, на полу – разноцветные половики-дорожки, в углу – старенький, покрытый вышитой салфеткой комод с зеркалом. А на стене громко тикали в тишине часы с гирьками. Но главным предметом, занимавшим чуть не полкомнаты, была высоченная, заправленная узорным покрывалом кровать с пышной периной и горой подушек, уходившей, казалось, к самому потолку. Чёрный кот Васька бесшумно ходил по мягким дорожкам, на которые из кухни падала полоска света, и в полумраке чудесная бабы Марусина горница казалась Пашке настоящей сказкой.

Он встал на цыпочки и выглянул из-за перины, чтобы разглядеть висевший над кроватью старый ворсистый ковёр. В ковре была волшебная страна: по зеркально-стеклянным водам, над которыми нависали кущи диковинных растений, прямо на Пашку плыли большие белые птицы с изогнутыми шеями, одновременно похожие и на гусей, и на лебедей, и на цапель. На берегу среди не то пальм, не то берёз гуляли то ли олени, то ли косули. А над всем этим поднимались и уходили в золотые дали чудесные, покрытые лесами горы, похожие на те, что Пашка видел из окна поезда. В полумраке казалось, что олени ходят, а птицы плавают... В тёмное окно долетел далекий гудок поезда со станции и разнёсся по горам и лесам волшебной страны...

От восторга Пашка затаил дыхание, потом начал хлопать ладонями по тугому покрывалу кровати и тихонько петь:

– А-а-а... о-о-о... у-у-у!..

Он понял: на бабы Марусином ковре нарисовано то самое царство с лесом и речкой, в которое они едут. И побежал к деду.

– Деда! – потянул он его за руку, косясь на бабу Марусю. – Пойдем... Ну пойдем... Там – гуси-лебеди!

– Что ты?.. Куда?.. – подчиняясь напору Пашки, дед покряхтел, поднялся с лавки и пошёл вслед за ним.

– Это он, поди, про ковёр, – засмеялась баба Маруся. – Думаю – какие гуси-лебеди...

Пашка показал деду ковёр:

– Гуси-лебеди... Это они в нашей речке плавают?

– Ох, какие красивые гуси-ле-ебеди! – прицокнул языком дед. – Да, в нашей речке тоже плавают. Завтра приедем – сходим на речку... Ну, айда, баба Маруся есть зовёт.

В кухне на столе уже дымилась чашка с варёной, обсыпанной зелёным лучком картошкой, стояло нарезанное сало, селёдка...

– Маруся, вот куды столь наладила! – говорила бабушка.

– С дороги устали – угощайтесь, – улыбалась баба Маруся.

– Гуси-лебеди, гуси-лебеди, – садясь за стол, усмехался дед. – Сами мы теперь – гуси-лебеди перелётные... Весной-летом – в деревню, осенью – в город на зимовку. Летим через тебя, Маруся, с посадкой.

Все засмеялись.

Баба Маруся поставила на стол пузатенький графинчик.

– Вот тут у меня есть маленько.

– Ишшо и бутылку ставит. Да ты чё, бог с тобой, мы чуть живые, Маруся! – укоряла её бабушка.

– Ничего, с устатку нужно. Со встречей-то, по одной...

Когда бабушку уговорили на полстопочки, дед поднял свою и сказал:

– Ну, со встречей, слава богу – повидались! И чтоб видаться каждый год, сколько бог даст! Как гуси-лебеди!

Все опять засмеялись. Поглядывая на Пашку, баба Маруся ласково поерошила ему чубчик...

Пашка ел горячую картошку со сметаной и не понимал, чему смеются взрослые. Но он уже прочно поселил в своем царстве с лесом и речкой гусей-лебедей и волшебные горы с бабы Марусиного ковра, и твёрдо верил, что всё это увидит завтра наяву.

А взрослые вели свои взрослые разговоры. Баба Маруся, которая рано потеряла мужа и одна воспитывала дочь, говорила, что Клава учится в Красноярске в институте, сейчас сдаёт экзамены, а на выходные обещала приехать домой. Бабушка говорила, что вот уже три года, как они с дедом продали дом в Спасском и переехали в Томск к сыну, но к городу привыкнуть тяжело, каждое лето ездят на родину. И что прошлый год не заезжали в Ужур потому, что ехали через Красноярск. И что Катерина писала в письме, что корова отелилась в мае, и тёлочку называли Майкой...

Глаза у Пашки начали слипаться прямо за столом. Он ещё помнил, как его укладывали спать на бабы Марусину кровать, к стенке, прямо в волшебное царство с гусями-лебедями, а потом сразу начал проваливаться то ли в бездонную, мягкую, как пух, перину, то ли в зеркальные воды, в которых отражались чудесные деревья. И, пока проваливался, вокруг летали белоснежные гуси-лебеди, а на высокой горе стояла баба Катя с маленькой тёлочкой и манила его рукой...

Утро было ясным: когда вместе с провожавшей их бабой Марусей они пошли на автобус, лучи раннего солнца, низко протянувшиеся над ужурскими улицами, били Пашке прямо в лицо, горели на развесистой росистой жалице у палисадников, покрывали позолотой весь мир. Невыспавшийся Пашка, поёживаясь от холода, чувствовал на себе их ласковое прикосновение. Солнце поднималось над далёкой, с тёмной щёткой берёз, горой на горизонте – прямо из волшебного Пашкиного царства, и уже приветствовало Пашку от его имени.

Дед, ушедший раньше всех, чтобы занять очередь за билетами на семичасовой автобус, уже купил их и ждал на привокзальной площади. Весело поблескивая на солнце квадратными окошками, маленькие «КАВЗики» один за другим вбегали на площадь. Когда появлялся очередной, дед с бабушкой напряжённо всматривались и гадали: «Наш?» «Не наш?». Но автобус, дав круг, проносился мимо, исчезал за поворотом, и баба Маруся говорила:

– Это ужурский.

Пашкино сердце обрывалось. У него начала закрадываться ужасная мысль: что, если их автобус не придёт вообще?

Но вот очередной «КАВЗик» выскочил из-за поворота, плавно подкатил к ним и тормознул, обдав набежавшей пылью. Его заднее стекло тоже покрывали густые, похожие на морозные узоры, наслоения пыли – пыли дальних дорог, сквозь которую с трудом пробивалось даже яркое утреннее солнце. Это был самый прекрасный автобус в мире: на нем красовалась заветная табличка «Ужур – Балахта»!..

Люди, чемоданы, сумки и узлы кое-как разместились в переполненном автобусе, дед с бабушкой успели занять два передних места, а Пашку взяли на колени. Сидя на жестком дедовом колене, Пашка смотрел в окно на привокзальную площадь с длинными утренними тенями, на бабу Марусю, которая улыбалась и махала им рукой, вместе с дедом и бабушкой махал в ответ. Он вспомнил чудесный ковёр, чёрного кота Ваську... Но вот водитель завёл мотор, автобус весело загудел, задрожал от нетерпения, и у Пашки сладко заныло сердце. Баба Маруся, до свидания!

Они ехали навстречу солнцу. Когда «КАВЗик» выбрался из путаницы ужурских улиц и поднялся на гору, во все стороны в утренней дымке раскинулись просторы, и в них уходила прямая, как стрела, гравийная дорога. Пашка увидел страну ещё более удивительную, чем на бабы Марусином ковре. Земля была такая огромная, что, казалось, выйди из автобуса – сразу полетишь. Горы и увалы, волны изумрудных полей и берёзовые колки в лоскутах прошитого солнцем золотого тумана даль за далью уходили к горизонту, становясь все синее и прозрачнее. А на горизонте, как граница между царствами земным и небесным, чуть заметной полоской лежали всё те же далекие таинственные горы. У Пашки захватывало дух.

– Деда, а мы скоро приедем?.. А где Спасское?.. А это что?.. – от избытка чувств он сыпал вопросами, показывая пальцем в окно...

Маленький автобус бежал среди зеленых полей и чёрных пашен, натужно гудя, полз на огромные горы – прямо в голубое небо, весело катился в глубокие низины с остатками тумана и серебряными нитками речек. У дороги вырастали деревни, автобус останавливался, в открывшуюся дверь, пока входили и выходили пассажиры, врывались запахи земли и травы. Свежий воздух будоражил Пашку, хотелось быстрее приехать, выйти на волю. Но маленький «КАВЗик» все шёл и шёл, и в духоте невыспавшегося Пашку начал морить сон. Перед глазами вновь поплыли гуси-лебеди...

Проснулся он от того, что дед легонько тряс его за плечо:

– Павлуха, Спасскую проспишь...

Пашка нехотя открыл глаза и увидел приближающиеся крыши какой-то деревни, а за ними – чудесные, покрытые лесом горы, как на ковре у бабы Маруси. Но его тянуло в сон, некоторое время он бессмысленно глядел в окно. Вдруг понял: это же березник!

– Деда, это березник? Мы приехали? – закричал он охрипшим со сна голосом.

– Вот теперь приехали, – сказал дед. – Просыпайся, гусь-лебедь!.. Это вон не Мишаил нас встречает?

Бабушка, которая всю дорогу гадала, встретит их кто или нет, пристально глядела в окно. Вдали виднелись выходящие к дороге зады огородов, быстро приближалась беленькая остановочная будка, возле которой маячила чья-то одинокая фигура.

– Знать-то он...

Автобус скрипнул тормозами. Дед Миша, смотревший из-под руки, разглядел наконец показавшихся в дверях деда с бабушкой, дёрнулся, заспешил навстречу.

– Миша, прймай! – подавали ему чемоданы.

Потом подали Пашку:

– Ишшо прймай!

Дед Миша крикнул, совсем близко Пашка увидел его серую кепку, худой подбородок в седой щетине. Он почувствовал, как сильные руки отрывают его от ступеньки автобуса и опускают на землю.

Наконец, все выгрузились, автобус покатил дальше, а дед с бабушкой начали обниматься с дедом Мишей...

Ещё чумной после сна и автобусной тряски, Пашка стоял в пыльной траве на обочине и смотрел на своё волшебное царство. В нём было спокойно и просторно. Трещали кузнечики, тихонько покачивали верхушками крапива и лебеда в придорожном кювете, свежий воздух пахнул полынью. Не было ни высоких городских домов, ни шумных машин – только поля, заросшие жалицей огородные изгороди да видневшиеся дальше шиферные крыши. Да покрытые лесом горы над ними. Да голубое небо, по которому задумчиво плыли большие белые облака.

– Ну, слау бох, вот она, наша Спасская, – бабушка мелко перекрестилась на лес и деревню. – Телеграмму-ту когда получили?

– В среду... в четверик ли... ничё памяти не стало, – немногословный дед Миша обречённо махнул рукой, как бы говоря: «Не спрашивай, нет уже с меня толку». – Ну, айда, то там Катерина ждёт, шаньги напекла.

Тощий и невеликий ростом, дед Миша взял два тяжёлых чемодана, первым начал спускаться с дорожной насыпи.

– Миша, оставь один, вон, Коля возьмёт, – беспокоилась бабушка.

– Ничего-о...

Пашка шёл сзади всех, смотрел, как покачивавшиеся в руках взрослых чемоданы и сумки скользили днищами по головкам ромашек, метёлкам голубоватой полыни и думал: «Я – в Спасском! Здорово!».

Они прошли переулочек между огородами, где в тёплой пыли купались воробьи, вышли на широкую деревенскую улицу и сразу свернули к небольшому домику. У домика была серая тесовая крыша, голубые ставни и палисадник с белёным штакетником, на который навалились ветки такой же, как и у бабы Маруси, развесистой черёмухи. Дед Миша толкнул весело брякнувшую щеколдой калитку, в глубине дома что-то стукнуло, затопали шаги. Дверь маленькой веранды распахнулась, и Пашка увидел наконец свою долгожданную бабушку Катерину Ивановну. Маленькая, сухонькая, в повязанном по самые брови белом платке и обсыпанном мукой переднике, она выскочила на порог, открыв в улыбке весь сверкающий железными зубами рот, и так же, как баба Маруся в Ужуре, сказала:

– Мои-то родные!

Снова начались поцелуи.

– Здравствуй, сестричка (чмок!)... здравствуй, моя милинька (чмок!)... Коля, здравствуй (чмок!)...

Бабушка захлопала носом...

Пашка, всю дорогу мечтавший увидеть Спасское и бабу Катю, вдруг оробел, застеснялся и пытался спрятаться за деда.

– А де мой-то родной... иди, моя... знать-то вырос... – баба Катя притянула его к себе изработанными, в выпирающих жилах руками, и он ткнулся носом в её пахнувший мукой и топлёным маслом передник...

Откуда ни возьмись, появились бабы Катина дочь Лена – девушка с длинной тёмной косой, и ещё одна Пашкина бабушка – баба Шура. Все обнимали, целовали и тискали Пашку, и, вконец запутавшийся в своей многочисленной, вдруг свалившейся на голову родне, он почувствовал себя окружённым такой любовью, что в ушах пошёл тихий звон.

У него пошумлило в голове от счастья, когда баба Катя повела его в полутёмные сени, вынула из накрытого полотенцем эмалированного таза золотистую, ещё теплую, облитую маслом шаньгу и протянула ему:

– Ешь, моя!..

И когда Лена повела его во двор, и он, с надкусанной шаньгой в руке, увидел чудесные сараюшки, стайки и поднавесы и ходивших везде красивых белых кур. И большого разноцветного петуха с прекрасным, переливающимся на солнце лазоревым пером в хвосте. И собаку Тузика, который не стал на него лаять, а сразу принял за своего...

И когда они с дедом пошли на речку глядеть долгожданных гусей-лебедей... Они открыли почерневшие от солнца и дождей воротца в огород и вошли в чудесный мир. Он раскатился во все стороны: широкими огородами с молодой зелёной картошкой и воронами на изгородях, заречным лугом со светлой точкой пасущегося телёнка, под-

нимающимися за лугом, одетыми берёзовым лесом и утренней дымкой пологими горами. Голубея, они убегали вдаль, как на бабы Марусином ковре... А далеко впереди на конце огорода виднелась заросшая жалицей изгородь и калитка на речку, и к ней прямо от Пашкиных ног убегала тропинка. Оттуда, с невидимой речки, о которой Пашка мечтал с самого Томска, долетали гогот, хлопанье чьих-то крыльев.

– Слышишь? Это гуси-лебеди! – сказал дед.

И тогда Пашка, распираемый каким-то ещё не знакомым ему восторгом, побежал в этот мир. Он бежал и чувствовал, как бьют по ногам сырые от росы, уже подрастающие картофельные плети, как увесисто ударил в лоб какой-то пролетающий жук... Он бежал к своей речке, где плавали живые гуси-лебеди, к голубым берёзовым горам, в лежавшее перед ним огромное лето. Лето, которое по-настоящему только начиналось...

2010

Леонид Шелудько

ЧЕРЕЗ ДВЕ СМЕРТИ

Повесть

*Памяти моего тестя
Владимира Яковлевича Игнатенко*

ЦЫГАНКА

В Красноярске стояли полчаса. Ехавшие к месту службы солдаты-пограничники вывалили на перрон, кто покурить, кто просто размять ноги. Пашка погулял взад-вперёд вдоль путей и решил подняться на пешеходный переход, начинавшийся прямо от торцевого входа в вокзал, чтобы с высоты глянуть на город, который в прошлый раз проезжал ночью.

Справа за привокзальной площадью виднелись корпуса комбайнового завода. С площади, гружёные огромными «рисовками», разъезжались примелькавшиеся Пашке красноярские «челноки». По словам проводницы, они с Благовещенска забили своим багажом все третьи полки плацкартного вагона. А теперь торопились домой. По пешеходному переходу шла цыганка лет двадцати-тридцати в красно-жёлтой цветастой шали на голове и чёрном пальто, из-под которого выглядывал подол юбки, такой же аляповато-пёстрой, как и шаль. За её руку держалась пятилетняя девочка, такая же смуглая и так же пёстро одетая, но из-под детской шапочки, сидевшей на голове как-то набекрень, выглядывали светло-русые кудряшки. Увидев, что Пашка смотрит на неё, девочка бросила руку своей спутницы и шагнула к нему:

– Дяденька солдат, дай денежку, мама тебе погадает, – уверенно сказала она и протянула руку.

– Откуда у солдата деньги, маленькая, – зашарил Пашка по карманам бушлата, но в них нашёлся только пакетик вафель в шоколаде, купленный ещё утром во время стоянки в Заозёрной, – на вот, погрызи, вкусные.

Девочка взяла пакетик, быстро сунула в карман и снова протянула руку:

– Нет, дяденька солдат, ты денежку дай, – хитро прищурила она голубые глаза, – и будет тебе дорога в казённый дом лёгкая-лёгкая!

– Извини, маленькая, все деньги у лейтенанта. Видишь того дядю в погонах со звёздочками?

Тут старшая цыганка, не без интереса наблюдавшая за дочерью, сказала ей что-то по-своему, и та снова ухватила мать за руку.

– Спасибо, солдат. Хочешь, без денег судьбу скажу? Дай руку.

Пашка не верил в гадания, но было в голосе этой женщины что-то, заставившее его послушно протянуть раскрытую ладонь правой руки. Несколько секунд цыганка разглядывала её:

– Найдёшь ты своё счастье, солдат, – проговорила она и глянула Пашке прямо в глаза, – когда через две смерти пройдёшь. От одной тебе враг уйти поможет, от другой мать спасёт.

– И где ты это...? – недоверчиво начал он, но собеседница резким движением руки подкинула его ладонь почти к глазам:

– Сам смотри.

Пашка глянул на ладонь. Два старых, еле заметных шрама шли по ней и упирались в линию жизни. В шесть лет появились они на ладони. Бежал по улице, догоняя укатившийся мяч, когда рыжий Генка поставил подножку. Успел выбросить вперёд руки и пробороздил ладонями по земле, сдирая кожу. Выступила кровь. С криком «бинт, бинт!» бросился домой под издевательский смех недруга. Мать залила ссадины перекисью и перебинтовала. Ладони скоро зажили, и только в тех местах, где правую пропорол два мелких острых камешка, остались шрамы. «Ладно, от второй смерти мать спасёт – это понятно, на то она и мать. Но что от первой враг уйти поможет, лишка приплела цыганка. Какой он враг после этого?».

Однако красно-жёлтая шаль мелькала уже внизу у выхода на привокзальную площадь, а из репродуктора металлический голос вещал, что «до отправления скорого поезда номер 79 сообщением Благовещенск – Москва осталось пять минут». Пашка пошёл в свой вагон.

ВОРГОРОД

Пашка жил в Воргороде. Вообще-то эта часть города Угольного носила название «посёлок Восточный», но употреблялось оно лишь в официальных документах. Дело вот в чём: в середине шестидесятых годов понадобилось увеличить добычу угля. Было принято решение об открытии новой шахты. Деньги для её строительства государство нашло, а построить жильё для шахтёров поручило местным властям. И они, когда тянуть с этим вопросом стало опасно, приняли решение объявить народу неофициально, но чтобы дошло до каждого: участки под строительство выделяют всем желающим, а документов об оплате строительных материалов не спросят ни с кого и никогда. Так и выросла в степи за восточной окраиной города шахта Восточная, а между шахтой и городом – одноимённый ей посёлок, с самых первых своих фундаментов на ворованном цементе получивший у горожан имя Воргород. Скорее всего, имя это так легко прижилось «в пику» центральной части Угольного – Соцгороду. Воргород имел чёткую прямоугольную планировку. Улицы, тянувшиеся параллельно шахте, именовались Восточными, с Первой по Восемнадцатую. А пересекающие их были названы в честь советских писателей. Пашка жил на углу Седьмой Восточной и Горького.

Соцгород, то есть «социалистический город», застроенный пятиэтажными кирпичными и панельными домами, имел Дворец культуры «Шахтёр» с парком и Дворец спорта «Олимпийский», сданный в эксплуатацию перед самым открытием московской Олимпиады, когда Пашка ещё ходил с забинтованными ладонями. Городская власть, крупные магазины, кафе, рестораны и кинотеатры тоже разместились в Соцгороде. С севера к нему, отделённые линией железной дороги, примыкали мазанки самого старого из посёлков – Шанхая. С запада – аккуратный одноэтажный Берлин,

населённый в основном высланными из Поволжья в начале войны немцами, их детьми и внуками. Шлакоблочный двухэтажно-трёхэтажный посёлок Южный начинался от окраин Берлина и, огибая центр с юга, тянулся до Промзоны, или Промышлёнки. В Промышлёнке были заводы, домостроительный комбинат и ТЭЦ, снабжавшая электроэнергией и теплом город, его предприятия и шахты – Центральную и Восточную, Южную и Дальнюю, Новую и Малютку, которую горожане чаще называли Берлинкой. Вокруг предприятий Промзоны жило большинство из работавших там людей. А её северо-восточная окраина упиралась в дома Воргорода. Шахта Дальняя стояла отдельно в степи, в пятнадцати километрах от шанхайского путепровода, связывавшего город с областным центром Двуреченском. Посёлок Дальний вокруг неё тоже относился к Угльному.

Шахты окружали город со всех сторон, и откуда бы ни дул ветер, он всегда приносил мелкую чёрную пыль с угольных складов. Летом пыль хрустела на зубах, сквозь неплотные рамы и открытые форточки проникала в дома. Зимой падала на свежий, ослепительно белый снег, и он становился серым, а через сутки чёрным.

Пашка жил с матерью. Редкий месяц в городе обходился без аварий на шахтах. Случались обвалы. Пожары. Вода прорывалась в выработки и топила тех, кого успевала отрезать от основных и запасных выходов. Но хуже всего приходилось, когда взрывался метан. Сжатая горными выработками, взрывная волна летела через лавы и штреки к стволам, на волю, в слепой ярости сметая с пути всё живое и неживое. Ей сопровождал грохот рушившейся кровли. Следом в шахтную тьму врывалась вода. Иногда возвращалась обратная волна и довершала разгром. Тогда люди гибли целыми сменами, а под землю уходили горноспасатели искать выживших. Редко, не чаще раза в несколько лет, но такие гибельные взрывы случались.

Пашке было восемь, когда под обвал попали рабочие одной из проходческих бригад Восточной. Двое, не задетые обвалом, вздрагивая, когда над их головами трещала уцелевшая кровля, срывая с пальцев ногти, до прихода горноспасателей руками откапывали своих. Они поднялись на-гора со спасателями, помогая нести носилки, хотя в пору было самих на носилках выносить. Один проходчик тогда выжил, отделавшись переломами двух рёбер и сотрясением мозга, а Николай Громов, отец Пашки, умер. Уже на воле, под солнышком.

Пашкина мать Екатерина Сергеевна, которую сменщицы называли просто Катей, в тот день работала в ламповой. По радио передавали сообщение о смерти Брежнева. В это время звено спасателей в полном снаряжении чуть не бегом прошло мимо её окна к шахтному стволу. Она как раз снимала со стенда жетон своего Коли, чтобы был под рукой, когда муж, бухнув на стол лампу-«шахтёрку» и самоспасатель, подземный аналог противогаза, блестя одними зубами на чёрном лице, скажет: «Вот и я, мать!». Ламповщица Громова всегда делала это заранее, но в тот день жетон выпал из внезапно задрожавших пальцев и глухо звякнул о холодный пол. Екатерина Сергеевна нагнулась за жетоном, и предчувствие чего-то непоправимого толкнуло её в самое сердце.

Справив по мужу девять дней, вышла на работу. Сдававшая ей смену Галина Гавриловна, сорокапятилетняя женщина, успевшая повидать немало шахтёрских вдов, отметила про себя только седой волосок, чуть заметно блеснувший в коротко стриженных тёмно-русых волосах Кати. Всё остальное в ней было таким, словно ничего не случилось. Лишь когда, уже стоя в дверях, Галина Гавриловна обернулась, чтобы попрощаться, она заметила, как вдруг потускнели карие глаза Кати, нездешними стали, будто всматривалась она в саму себя.

– Ты давай держись, Катюха, – грубовато бросила сменщица, – не ты первая, не

ты последняя, кто мужика похоронил. Это не на деньрождение сходить. А захочешь поплакать – поплачь возле меня. Полегшает.

– Спасибо, Гавриловна, я уж как-нибудь сама...

Ещё через несколько дней она снова уронила чей-то жетон, и хотя хозяин жетона, живой и здоровый, терпеливо дождался у окошка, её затрясло, когда алюминиевый кругляш с выбитым на нём табельным номером глухо звякнул о холодный пол. Спустя пару недель, с помощью Галины Гавриловны, знавшей почти всех на шахте, перешла работать в прачечную. А вскоре Гавриловна помогла ей найти ещё и подработку – мыть полы в ДК «Шахтёр».

ДРЮША

Помянуть Николая Громова на сорок дней пришло много народа: бригада, начальство участковое и шахтовое, соседи, друзья. Пришёл и Андрей Андреевич Сычёв. Они со покойным Громовым знакомство вели ещё с детства, жили в соседних домах Промышлёнки и учились в одном классе. Многих удивляло приятельство взрывного, напористого Кольки и всегда спокойного, даже прохладного Андрея. Но сами парнишки тянулись друг к другу, находя в товарище черты, каких не доставало в себе. Был Сычёв начитан и начитанность свою не скрывал, вворачивая в общий незамысловатый разговор то грамотно, по-книжному построенную фразу, то незнакомое другим слово.

– Умнее всех, что ли? – бросали ему пацаны постарше. Они называли парня не как равного, Андрюхой, а пренебрежительно Андрюшкой. Это задевало, и однажды он сказал:

– Вообще-то, по-английски моё имя – Эндрю.

К чему это было сказано, он и сам толком не понял, но кто-то тут же сострил:

– А по-русски, значит, Дрюшка?

С того дня и пристало к Андрею Сычёву прозвище Дрюша. Если под окнами громовского дома частенько собиралась компания, горланившая: «Колька, выходи!», то в окно сычёвской квартиры на втором этаже только друг кидал мелкие камешки, вызывая на улицу.

После восьмого класса Николай Громов пошёл учиться в горное ПТУ, которое в городе, по аналогии с предшественницами ПТУ, школами фабрично-заводского обучения, называли «фазанкой». Дрюша поступил в горный техникум и окончил его с дипломом техника-технолога. Отслужили оба в армии и пришли работать на Восточную.

Сычёву сказали в отделе кадров:

– Горным мастером тебе ещё рановато. Осмотрись в шахте, пойми, что к чему. Потом и в мастера можно. Эта работа от тебя никуда не убежит.

Он начал горнорабочим в очистном забое, короче – грозом. Работа эта, тяжёлая и грязная, как любая под землёй, хорошо оплачивалась. А через год осмотрелся и понял, «что к чему» в шахте. Понял, какая ответственность ложится ежедневно на плечи мастеров и механиков, какую и ему придётся взять, коли захочет он стать выше себя нынешнего. И перешёл работать машинистом стволового подъёма. Зарплата там поменьше, зато и работа полегче да почище. И подземный стаж, дающий право уйти на пенсию в пятьдесят лет. Но однажды на шахте Малютке во время подъёма клетки с людьми лопнул трос, да ещё не сработали «парашюты», которые должны останавливать падение. Люди погибли, а прокуратура начала следствие, зацепившее и машинистов стволового подъёма в том числе. Тогда он, хорошенько подумав, перешёл ра-

ботать на недавно освободившееся место табельщика. Зарплату получал вдвое ниже, но на работу приходил в костюме и рубашке с галстуком. С начальником держал себя уважительно, с мастерами и механиком как равный, в общих разговорах с рабочими больше помалкивал. А если и говорил, то твёрдо и веско, хотя иногда невольно. По бумагам отдела кадров продолжал Сычёв числиться машинистом подъёмных машин, и трудовой стаж имел льготный. Знакомым говорил, объясняя переход в табельщики:

– Ну и что? Зарплата, в действительности, меньше. Зато работа соответственно чистая. И уважение. И на пенсию уйду в пятьдесят лет здоровым, а не как другие – помирать. Соответственно.

Он считал, что имеет право говорить об уважении к себе. К нему первому подходили те, кто попадался нетрезвым на рабочем месте, совершал прогул или аварию. Сычёв умел, разговаривая о провинившихся людях с начальником, подчеркнуть их хорошие качества, тем более что они действительно есть в каждом. Его заступничество почти всегда помогало. Рабочие видели это, и лицом к лицу были уважительны:

– Андрей Андреич, выручи. Заступись.

А между собой говорили:

– Если что, Дрюша отмажет.

Андрей Андреевич сидел за поминальным столом и поглядывал на хозяйку дома. Впервые Сычёв увидел эту девушку сразу после возвращения из армии на танцплощадке ДК «Строитель» у себя в Промышлёнке. Она пришла в компании подруг, студенток горного техникума, но парень видел только её, высокую и стройную, в белом платье, украшенном синими горохами по подолу. Пригласил потанцевать, и ответная чуть смущённая улыбка новой знакомой легла прямо в душу. Провожая домой, на одну из многочисленных Южных улиц, читал стихи своих любимых Есенина и Асадова. Молодые люди начали встречаться. Всё складывалось просто замечательно, пока он не познакомил подругу с приятелем Колькой Громовым.

Тот праздновал возвращение на гражданку, слегка нетрезвый и просто неотразимый в парадной форме ВДВ, украшенной россыпью солдатских значков на груди и сержантскими лычками на погонах. Через пять минут после знакомства, сунув десантный берет за пояс, чтобы не свалился, Громов играючи перемахнул через чей-то забор, за которым цвёл роскошный сиреневый куст. Задохнулась лаем хозяйская собака на цепи, а бравый вояка так же легко перепрыгнул назад. Уже с букетом. Они проводжали Катю вдвоём. Девушка шла между ними, пряча счастливое лицо в сиреневый дурман. С того вечера её отношения с Сычёвым пошли наперекосяк. Дружба между парнями тоже. На свадьбу Дрюша не пошёл.

Он всматривался в хозяйку дома, куда шёл сегодня мудрым и великодушным другом, несущим слова ободрения и поддержки. Всматривался и ждал возможности остаться с нею наедине. Она почти не изменилась за двенадцать лет. Всё тот же взлетающий росчерк бровей, быстрый взгляд карих глаз из-под густых ресниц, аккуратный прямой нос и чётко очерченные губы. «Губки бантиком», как раз то, что особенно нравилось ему. Тем более что губы его жены были тонкими и какими-то расплывчатыми. А эта женщина за прошедшие годы расцвела той спокойной красотой, какая приходит к людям любящим и любимым. Слегка округлились её фигура и овал лица, уверенными и спокойными стали движения, вот и всё. Она не походила на сломленную горем вдову, готовую расплакаться на мужской груди, и желание Сычёва быть мудрым и великодушным понемногу таяло.

Зато он заметно изменился. В первые дни их знакомства не без умысла произнёс

Дрюша: «Девушки говорят, что у меня скандинавская внешность». Парень казался настоящим викингом, рослым и крепким. Лняные волосы падали на невысокий покаты́й лоб. Крупный нос с лёгкой горбинкой и твёрдые, чуть капризно изогнутые губы делали его лицо запоминающимся. Этот человек был бы красив, если бы не широко расставленные, чуть навывкате бледно-голубые холодные глаза. Но теперь от спокойной сидячей работы как-то порыхлела фигура. Обозначился живот. Изрядно поредели волосы, глубокие залысины поднялись по лбу и почти вплотную подошли к макушке, на которой, ещё прикрытая редкими лняными прядками, просвечивала розовым будущая плешь. Жена Светлана говорила, шлёпнув мужа по этому месту ладонью:

– Скоро у тебя тут аэродром будет.

Люди начали расходиться, и он, выждав, когда хозяйка пойдёт на кухню со стопкой посуды, поспешил за ней:

– Ну, здравствуй, Катюша.

– Здравствуй.

Ни тепла, ни холода не прозвучало в её голосе, хотя не забыла она ни уговоров его, ни угроз накануне свадьбы. Андрей Андреевич продолжал:

– Вот оно как всё вышло, в действительности. Кто бы знал тогда. Только ты не падай духом. Всё ещё у тебя наладится. Я помогу соответственно.

– Чем же ты помочь можешь? Колю моего воскресишь?

– Его никто уже не воскресит. А вот жизнь твою, в действительности, воскресить можно.

Ему снова хотелось быть мудрым и великодушным:

– Ты ведь техникум не закончила? Бросила, когда сын родился?

Она кивнула и занялась посудой. Входили и выходили соседки, помогавшие Громовой, но Сычёва это уже не смущало:

– У меня связи в техникуме остались. Поговорю с кем надо, и тебя, если захочешь, восстановят. И доучиться соответственно тоже помогу.

– Зачем это тебе? – впервые за время разговора женщина глянула в его лицо, и в голосе послышался интерес.

– Как зачем, – искренне удивился он, – не до пенсии же в прачечной руки гробить? С дипломом-то найдём мы тебе работу чистую и спокойную. И самой будет хорошо, и сыну.

– А потом? Мужа мне другого найдёшь, Паше моему отца?

– Зря иронизируешь. Я ведь с тобой серьёзно говорю. Мужа, если захочешь, ты и сама, с твоей-то красотой, найдёшь, в действительности.

Выпитая на поминках водка, близость той, которая всегда нравилась ему, и сам разговор с ней о возможном будущем – всё это вместе развязало язык:

– А станет невестой без мужика – дело-то житейское, власть либидо не признаёт запретов – ты только намекни. Ты же моя первая и единственная любовь, для тебя я обо всём забуду.

Красивая фраза о «власти либидо» запомнилась ему из какой-то книги, а внезапно разгоревшиеся бледно-голубые, чуть навывкате глаза были красноречивее любых слов. Теперь «первая и единственная» глядела на него с неподдельным интересом:

– Помнишь, как говорил, что отомстишь Коле? Живому мстить побоялся, хочешь с мёртвым через меня рассчитаться? Я лучше под вагонетку лягу, чем под тебя.

– Ты не горячись, Катюша, не горячись, – он понял, что сказал лишнее, неуместное здесь и сейчас, и постарался загладить сказанное, – я к тебе ещё зайду, тогда и поговорим соответственно обо всём.

– Не о чем мне с тобой говорить. А станешь навязываться, скажу твоей Свете, что прохода не даёшь. Она тебе «либидо» с корнем вырвет.

– Дура ты, я же как лучше хотел, – крикнул он уже в дверях, чувствуя – слово своё, если что, хозяйка сдержит.

– Дрюша ты и есть Дрюша, – грустно покачала головой Громова.

ПАШКА

Этот дом в Воргороде, на углу Седьмой Восточной и Горького, Громовы купили, когда Пашке исполнилось пять лет. До этого жили они в общежитии, снимали времянку у хозяев в Шанхае. Во времянке была печь. Отец топил её бесплатным для шахтёров углем, которого и себе хватало, и хозяевам оставалось.

Однажды родители поссорились. Иногда это случалось, хотя характер свой Николай Громов при жене никогда не проявлял, а она вообще была человеком спокойным. Ссора началась, как всегда это бывает, с мелочей. С выяснений, кому сегодня идти в детский сад за сыном, а кому мыть посуду и полы. У кого после смены руки не поднимаются от усталости, а кто в ламповой посиживает. Кто залезет в забой и даже подремать после обеда может, а кто целый день на ногах, на холодном полу да на виду у начальства:

– И вообще, сколько мы будем по чужим углам скитаться, ты забыл, что у тебя ребёнок, которому скоро в школу идти?

Их очередь на квартиру в новых пятиэтажках Соцгорода все эти годы двигалась, но очень уж медленно:

– Ничего я не забыл. А насчёт «скитаться» не загибай. Всего второе жильё у нас. Глянь, как другие скитаются.

– А ты погляди, как другие зарабатывают да семью обеспечивают, а у меня уже и надеть нечего, стыдно из дома выходить, если это, – она повела руками вокруг себя, – можно «домом» назвать.

– Как это «нечего»? – муж даже задохнулся от возмущения. Он распахнул дверцы старенького хозяйского шифоньера:

– А это что?

В шифоньере висели на самодельных плечиках два мужских костюма и несколько рубашек, десяток женских платьев и костюмов, юбки, блузки, кофты. Отдельно, на маленьких плечиках, детская одежда.

– Ты про это говоришь – «надеть нечего»?

– Вот сам это и носи, если хочешь, а я больше не надену.

– Так, – подозрительно спокойно сказал Громов, снимая с плечиков приталенное кримпленовое платье фиашкового цвета, – значит, это ты носить не будешь?

– Нет.

Он распахнул дверку печи, шевельнул кочергой тут же вспыхнувшие угли. Миг, и фиашковое с круглой горловиной и рукавом три четверти, подтолкнутое кочергой, исчезло в печи. Резко запахло горелой синтетикой. Николай снял яркое ворсалановое с рукавами-фонариками:

– А это?

– Нет.

И оно тоже отправилось в печь. За ним ушли в огонь кримпленовый костюм цвета кофе с молоком, крепдешинное платье василькового цвета с пояском, цветастое трикотинное, пара ситцевых и штапельных, а потом несколько нейлоновых блузок. Першило горло от вони горелой синтетики, в глазах жены закипали слёзы, но она всё твердила «нет», и ещё одни опустевшие плечики возвращались в шифоньер.

– А вот это? – в его руке был её любимый костюм терракотовой расцветки с при-
таленным жакетом и закруглёнными бортами.

– Ну если ты разрешишь мне завтра голой пойти на работу, жги и это! – не выдер-
жала молодая женщина и заплакала.

Громов сходил в детский сад за сыном, вымыл посуду и пол. Жена всё это время
лежала на кровати лицом к стене. Их помирила только ночь. Наутро Николай пошёл
в сберкассау. Домашние не всё знали о его зарплате. Деньги имелись, и немаленькие.
Он хорошо зарабатывал, но домой приносил ровно столько, сколько нужно для семьи.
Остальное складывал на сберкнижку, мечтая о дне, когда повезёт жену и сына по го-
роду на собственных «Жигулях» третьей модели.

Снял все деньги, занял недостающие и через пару месяцев Громовы купили этот
дом.

– Теперь у нас своя крыша над головой, – радовался глава семьи, – пока подойдёт
очередь на квартиру, Пашка вырастет. И будет в ней жить.

Широко и весело справили новоселье. Когда он, уже у калитки, провожал ребят из
бригады, накатило вдруг что-то непонятное на душу:

– Отсюда и унесёте меня ногами вперёд. Когда придёт время.

Оно пришло. Мать и сын остались вдвоём в этом сразу опустевшем без хозяина
доме. И чувство пустоты заняло в душе восьмилетнего Пашки то место, какое в душах
взрослых людей занимает горе. Мать сказала:

– Теперь ты моя единственная надежда и опора.

И подумала: «А я – твоя...».

В этом возрасте был он мальчиком щуплым и болезненным. Стоило Пашке хотя
бы мало-мальски промочить ноги, как гланды тут же воспалялись, сдавливая горло.
Врачи советовали удалить их, но ребёнок панически боялся боли и крови. Даже слегка
порезав палец, мчался он к матери с криком: «Бинт, бинт!». И успокаивался только
тогда, когда белая полоска обвивала повреждённое место. Сын и слышать не хотел об
операции на гландах, потому мать снова и снова натирала компрессами его больное
горло. А живший неподалёку плотный рыжеволосый, конопатый парнишка Генка Са-
мойленко, почему-то невзлюбивший Пашку ещё с детского сада, дразнил его «гланда
ходячая». Но прозвище это в среде сверстников не липло к приветливому доброже-
лательному Пашке, и Генке оставалось изощряться в придумывании новых обидных
кличек для своего недруга.

Пашка старался держаться от Генки подальше, но они учились в параллельных
классах седьмой школы, и Генке, чтобы отравлять существование «гланде ходячей»,
вполне хватало перемен между уроками.

И ещё один человек время от времени портил жизнь Пашке Громову. Громовские
владения отделяла от дома их соседей Авериных изгородь из штакетника. Хозяин
дома Анатолий Аверин был механиком на Восточной, его жена Татьяна работала ве-
совщицей угольного склада, а дочь Верка чуть не с рождения поставила себе целью
совать нос в жизнь Пашки. На три года младше него, она имела тощее телосложе-
ние, торчащие во все стороны волосы и необъяснимое умение видеть и слышать даже
сквозь стены. Стоило ему, хотя бы просто на словах, схватиться с рыжим Генкой, как
уже неслось через изгородь:

– Тётя Катя, а ваш Пашенька опять с Генкой дрался! Я сама видела!

Потом Верка подросла, пошла в школу. И слышалось через штакетник:

– Тётя Катя, а ваш Пашенька двойку по математике получил! И замечанье по по-
ведению! Да-да, Пашенька, я не вру. Я точно знаю.

Когда позволяло время, сын ходил с матерью в «Шахтёр», помогая мыть полы.

Мать никогда не просила его об этом, даже пыталась прогонять домой, но Пашка, во всём покладистый и послушный, в этом настоял на своём. Жили они дружно, Пашка переходил из класса в класс, предметов в школе становилось всё больше, свободного времени всё меньше, и пустота в его душе постепенно заполнилась.

К двенадцати годам начал Громов-младший крепнуть, расправляться, обликом всё более становясь похожим на отца – круглолицего, слегка курносого, рослого русоволосого парня. От матери остались в нём только тёплые карие глаза да спокойный характер. Но и в характере тоже проступало иногда отцовское, взрывное.

Однажды Пашка работал с матерью в «Шахтёре». Он шёл через вестибюль Дворца культуры, неся в правой руке ведро чёрно-бурой от грязи воды с плавающими поверху размокшими окурками, когда туда вошла компания воргородских парней. И Генка Самойленко, увидев его, захохотал:

– Гля, пацаны, вы говорили – он Пашка-Гром, а он Пашка-поломойка, гланда ходячая!

Пашка остановился. Спокойно перехватил дужку ведра левой рукой, приподнял. Освободившейся правой подхватил под донышко и, коротко размахнувшись, выплеснул содержимое в лицо Генке. Вернул ведро в правую руку и пошёл в туалет набирать чистую воду.

– Чё, Рыжий, выпросил? – укоризненно-сочувствующе сказал ошеломлённому Генке его одноклассник и предводитель компании Вовка Климов по прозвищу Клим. И снял с мокрых волос приятеля разбухший окурочек.

– Да я его сейчас....

– Во-во, на плюху нарвись. Он боксом занимается, ты чё, не знал?

К тому времени Пашка уже полгода занимался в боксёрской секции Дворца спорта. Привёл его туда новый друг Миша Рожковский. Миша пришёл в их шестой «А» первого сентября. В тот день учительница пересадила изрядно вытянувшегося летом Пашку за последний в ряду стол, и место рядом с ним было пока свободно. Туда и сел новичок. На перемене Пашка спросил:

– А почему у тебя фамилия, как у нового директора школы?

– Потому что он мой папа, если это имеет для тебя значение.

«Вот оно как. Директорский сынок», – мелькнуло в голове. Но Миша оказался парнем незаносчивым и общительным, а к появившимся поначалу шепоткам о «директорском сынке» отнёсся болезненно:

– Знали бы они, Паха, как папа и меня, и сестрёнку за каждую тройку строит. Говорит, что мы честь фамилии Рожковских роняем. Вот и приходится вкалывать, чтобы без трояков обходиться.

– Терпи, Миха, родителей не выбирают, – сочувствовал другу Пашка. А сам думал: «Счастливый ...».

Поначалу дела в боксёрской секции у него пошли неплохо. Научился терпеть боль, наносить удары и защищаться. После нескольких побед в спарринг-боях тренер выставил Пашку на первенство города среди юниоров, где его соперником оказался Вовка Клим. Во втором раунде Вовка раскрылся, получил удар в челюсть и упал на ринг. Он не встал даже после того, как рефери отсчитал последнюю секунду, и из правого уголка рта стекала по щеке тоненькая струйка крови. Рефери поднял руку победителя, друзья колотили Пашку по плечам, а у него в голове вертелись слова из «Песни сентиментального боксёра» любимого им Владимира Высоцкого:

*Неправда, будто бы к концу
Я силы берегу, –
Бить человека по лицу
Я с детства не могу.*

Но в песне-то всё заканчивалось по справедливости:

*Вот он ударил раз, два, три –
И... сам лишился сил.
Мне руку поднял рефери,
Которой я не бил.*

Напрасно тренер говорил Пашке, что если выходишь на ринг, то выходи с желанием размазать по нему противника, потому что и он выходит для этого же. Напрасно Клим пытался втолковать:

– Пашка, ты чё? Я ж сам всохатился.

Напрасно друг Миша Рожковский цитировал из той же песни Высоцкого, что «бокс не драка, это спорт отважных и тэ дэ». Сколько ни пытался парень перебороть себя, снова и снова выходя на ринг, в решающие секунды боя он опять видел запрокинутое белое лицо Клима, тоненькую красную струйку по щеке и опять проигрывал по очкам. Тренер перестал выставлять его на соревнования. А у друга дела шли нормально, и он даже начал ездить на первенства области.

Ребята крепко подружились, и не только потому, что учились вместе. И не только потому, что охотно помогали друг другу в учёбе – Пашке легко давалась математика, а Миша разбирался в химии, которую с восьмого класса начал вести у них Леонид Матвеевич Рожковский. И не только общая увлечённость песнями Высоцкого сближала их. И не только почти одновременно открытые, прекрасные своей честностью миры писателей братьев Стругацких, в которых друзья вместе захлабывались «Понедельником», начинавшимся в субботу, «Гадкими лебедями» и «Обитаемым островом».

Они сидели в одной из аллей парка «Шахтёр» и обсуждали похождения главных героев «Острова», когда услышали от незнакомого парня с соседней скамейки:

– Ну и что хорошего сделали эти люди? Влезли со своими правилами на чужую планету к чужому народу и взялись переделывать его? А их хоть кто-нибудь звал туда, этих «прогрессоров»?

Так в их компанию вошёл Гриша Редлих, скептик, имевший обо всём своё собственное мнение, всегда хоть в чём-то, но отличное от того, что думали другие. Гриша жил в «берлинской» части города. Отец его работал электриком на шахте Малютке, а мать библиотекарем. Он много читал. Он умел думать над прочитанным. Друзьям нравилось спорить с ним, противопоставляя его аргументам свои, над которыми тоже сначала приходилось подумать. И им было хорошо втроём.

Даже к вездесущей Верке Авериной как-то притерпелся Пашка. Случилось ему увидеть по телевизору музыкальный фильм «Ах, водевиль, водевиль...», где героиня, изображая из себя цыганку, кричала: «Эй, Верунчик, золотой цветочек, выходи в сад, Любаша пришла!». И когда донеслось однажды через изгородь знакомое: «Тётя Катя, а ваш Пашенька курил, я сама видела!», не выдержал и влез:

– Эй, Верунчик, золотой цветочек, да ты же мне сама закурить давала!

Верка обомлела от такого вранья и убежала, мотнув кудрявыми лохмами. И Пашка приспособился на каждую её новую кляузу заводить: «Эй, Верунчик, золотой цветочек...», что неизменно злило малолетнюю сыщицу.

В седьмом классе он, действительно, попробовал закурить, но мать ещё за пару дней до Веркиного доноса обнаружила в кармане его куртки табачные крошки и спросила:

– Ты начал курить, Пашенька?

Он молчал, разглядывая пол под ногами. Мать принесла из магазина пачку сигарет с фильтром. Привела сына в кладовку. Положила перед ним сигареты, спички и пепельницу:

– Кури. Как докуришь всю пачку, постучи. Выпущу.

И вышла, заперев дверь снаружи. Через пару часов Пашка постучал. Мать открыла:

– Ну, накурился, сыночек?

Ещё полчаса его покачивало и тошнило от десятка выкуренных за два часа сигарет, последних в жизни.

Даже рыжий Генка, стойко переживший свой конфуз, перестал цепляться по поводу и без повода, хотя и бросал иногда вслед: «У-у, гланда ходячая!». Даже чёрный снег был родным и привычным, хотя в других местах – Пашка это знал – снега лежали чистыми до самой весны. И только гланды продолжали наказывать его, стоило промочить ноги.

ПЕРЕПУТЬЕ

В июне девяностого года он закончил девятый класс и отдал документы в горный техникум. Мать чувствовала, что бесполезно уговаривать сына переменить решение, ведь своё тихое, почти бессловесное упорство перенял он от неё. Но всё же попробовала:

– Павлуша, тебе бы в институт поступать...

– Мамуль, всё нормально. Вот и дядя Толя Аверин говорит, что механик – такая специальность, с которой нигде не пропадёшь.

Пашка сдал вступительные экзамены и стал студентом, а его друзья продолжили учёбу в школе. Миша твёрдо нацелился на высшее образование. А родители Гриши Редлиха после падения берлинской стены и объединения двух Германий всерьёз говорили только о возвращении на «историческую родину». Гриша слушал их, глядел на свою разваливающуюся родину, и душа его рвалась пополам. В мечты родителей о Германии вмешивался он только фразой:

– Дайте вы мне сначала школу закончить, кому я там нужен без аттестата?!

– А кому там нужен твой советский аттестат? – обрывал его отец, но осторожность брала верх, и он не торопился хлопотать о вызове от уже переехавшей родни.

Шахтёры всей страны стучали касками по московским булыжникам и асфальтам, министры метались из Кузбасса в Печору, из Воркуты в Караганду, вожди ГКЧП вызывали в Москву войска, рушилась великая держава, первый президент России вступал в Кремль, танки в упор били по горящему Белому дому Верховного Совета. А Пашка Громов писал конспекты, делал лабораторные работы и сдавал экзамены. Для него главным было быстрее получить специальность и начать по-настоящему помогать матери.

В девяносто втором его друзья окончили школу. Миша сдал вступительные экзамены и был принят в политехнический институт областного центра Двуреченска. Гриша уезжал с родителями в Германию. На прощальном вечере шестнадцатилетняя Лена Рожковская плакала, уткнувшись ему в грудь. Он растерянно обнимал её, и в его глазах что-то подозрительно поблёскивало.

– С чего это ваша Лена...? – спросил Пашка Мишу, кивнув в сторону обнимавшейся пары.

– Да я сам только сегодня утром узнал, что они уже полгода встречаются. Партизаны.... Говорю ей: «Вот и хорошо, что в нормальную страну уезжает, сама видишь, куда у нас всё катится». А она меня «поленом бесчувственным» обозвала. Любовь у них, оказывается. И Ленка до последнего надеялась, что он не уедет. Жалко...

– Кого, её или Гриху?

– Всех жалко, Пашуня. Всё распадается. Вот и троица наша на распутье, у каждого теперь своя дорога. Ты-то как дальше?

– Кончу технарь. Поработаю, сколько успею. А как отслужу, так и видно будет. О тебе я не понял. Ты ж в «пед» собирался. А как в «политехе» оказался?

– Это папа во мне педагогические способности разглядел. А я, сколько ни всматривался, ничего такого в себе не увидел. Вот и решил стать горным инженером.

Друзья расстались, и снова комочек пустоты всплыл на окраине души Пашки. А осенью уходил в армию его давний недоброжелатель рыжий Генка Самойленко. Пашка стоял в углу двора у забора. Рядом с ним, по ту сторону изгороди из штакетника, курил свой неизменный свердловский «Беломор» сутуловатый, с чёрной «шахтёрской» каймой вокруг глаз дядя Толя Аверин. Со двора Самойленко неслись музыка и нестройные песни подгулявшей компании.

– Твой «дружбан», – хмыкнул дядя Толя, – уезжает. Сколько лет вижу – так и не понял его натуру.

Он затянулся в последний раз, задавил «беломорину» о торец столба изгороди и добавил, уже уходя по канавке меж рядками подсохшей и поникшей картофельной ботвы:

– Единственное дитё у папки с мамкой, вот и думает, что все должны вокруг него на пупе вертеться. Ну ничего. Армия за два года всё на место поставит. Что получится, то и получится.

На третьем курсе подошло время производственной практики. Пашка прошёл «дымный штрек», где их учили выходить из пожара, и впервые спустился в шахту. Шахта встретила практикантов потоком тёплого сухого воздуха и редкой каплей с кровли. Полыхнув жёлтым глазом прожектора, прогрохотал навстречу электровоз с гружёными вагонетками.

Головные фонари «шахтёрок» выхватывали из темноты секции арочной крепи, кабельные трассы и вентиляционные рукава. Надо было глядеть под ноги, чтобы не запнуться. И поверх голов впереди идущих, чтобы ни во что не врезаться каской. Вот пошла по цепочке команда «пригнись!», и Пашка пригнулся под деревянным лотком, подвешенным поперек выработки. А через несколько шагов за его спиной раздался истошный вопль. Свет всех «шахтёрок» разом метнулся туда. Шедший последним в их цепочке невысокий, плотный Толик Волков или не услышал команды, или понадеялся на свой рост, вот и задел каской этот лоток. Из лотка на его голову рухнул тяжёлый поток холодной белой пыли.

– Спокойно, – сказал подбежавший на вопль провожатый, – это ты сланцевый заслон сбил.

В свой первый день под землёй Пашка учился не только тому, как подвесить свёрток с обедом под самой кровлей, подальше от крыс. Или как съесть этот обед чёрными от угля руками – «это же уголь, а не грязь...». Или как взять на плечо пятидесятикилограммовую деталь, чтобы легче было нести – а шахтёры несли сразу по две! Но даже как отмыть себя после работы – этому тоже надо было учиться.

Он вышел из душевой в раздевалку, взял из стопки чистых полотенец верхнее. Начал вытираться и увидел на полотенце чёрные разводы.

– Глянь на себя в зеркало, – посоветовал ему раздевавшийся рядом дядька, – и иди перемывайся.

Уголь был везде – в ушах и за ушами, вокруг носа и в носу, вокруг глаз и даже на зубах. Пашка дважды возвращался в душевую, а потом подходил к одному из множества зеркал, развешанных везде в раздевалке. Однако тонкий чёрный ободок, из-за которого ресницы казались подведёнными косметическим карандашом, так и остался вокруг глаз.

– Теперь у тебя настоящие шахтёрские глаза, парень, – сказал тот самый дядька, успевший помыться, пока Пашка перемывался.

В мае девяносто четвёртого он получил диплом и пошёл устраиваться на Восточную. Его взяли рабочим на добычной участок, и он начал зарабатывать тот самый «длинный» шахтёрский рубль, которому завидовали люди, никогда не бывавшие в шахте. Каждую смену Пашка шёл в забой, перевесив фонарь «шахтёрки» через плечо, чтобы светил под ноги и не слепил встречных. В забое переставлял фонарь на каску и шесть часов орудовал кувалдой или плечами ворочал тяжёлое железо, которое под землёй больше нечем было ворочать. И уходил на-гора, стараясь не слепить встречных из новой смены. В один из первых дней он свернул не туда и попал в брошенную лаву. Когда-то гидравлическая крепь в ней не справилась с горным давлением, и оно завернуло тяжёлые металлические листы как картон. Шахтёры давно убрали отсюда всё уцелевшее оборудование, и только эти изувеченные секции крепи, будто люди, когда-то уверенные и гордые, а теперь никому не нужные, медленно умирали в темноте и тишине под тяжестью многометровой толщи. И он быстро, едва не бегом, вернулся в транспортный штрек, к свету и шуму. Уже не сбиваясь с пути, Пашка пришёл в свой забой, и постепенно за работой рассосалась непонятная тяжесть в душе, принесённая из мёртвой лавы. А в сентябре в дом на углу Седьмой Восточной и Горького принесли повестку из военкомата.

Проводить его пришла и Вера Аверина, кудрявая в мать и рассудительная в отца первокурсница педучилища. Язык не поворачивался называть её Веркой или Верунчиком. Их отношения давно стали по-соседски ровными, а пару раз Пашка ловил на себе взгляд Веры, от которого делалось тревожно на душе. Нельзя сказать, чтобы он совсем не интересовался девушками, но «Греческая смоковница» и «Маленькая Вера» городских видеосалонов – это одно, а Вера Аверина...

Призванный в пограничные войска, он прошёл подготовку на учебной базе под Кяхтой и вместе с другими через Москву уехал в Таджикистан.

ДАРАЙ-САНГ

Ишкошимский погранотряд располагался в районном центре Горно-Бадахшанской области Таджикистана, большом кишлаке Ишкошим. Из него по мосту через Пяндж шла хорошая автомобильная дорога в Афганистан, перекрытая КПП – контрольно-пропускным пунктом. На КПП и в Ишкошимской заставе отряда службу несли уже сами таджики. А дальше вдоль Пянджа стояли русские заставы Дарай-Санг и Шитхарв, Лянгар, Хоргуш и Зоркуль. Застава Зоркуль считалась штрафной. Служить по доброй воле на этом заоблачном высокогорье, где зима держалась десять месяцев в году, желающих не находилось. Но и нарушители почти не лезли на его кручи, и выючные караваны с афганским героином предпочитали идти через другие места.

Паше Громову выпало служить на заставе Дарай-Санг, названной по имени ущелья, у края которого она стояла. Памирцы переводили это название на русский как Ущелье Камней. Но пограничники называли его Ущельем Смерти. И не только потому, что поиски людей, исчезнувших вблизи него, ни к чему не приводили. Оно было таким узким и глубоким, что даже когда солнце висело прямо над ним, лучи не доставали до дна. Говорили, что со дна даже днём не видно неба. Суеверные люди считали – сама Смерть прячется в этой вечно тёмной глубине, по ночам поднимаясь вверх.

– А рядовой Громов у нас самый ленивый? Или самый гордый? Ему запахло старшему товарищу кирзачи почистить? – голос сержанта Гареева был негромок, но его слышала вся казарма. – Смотри, Громов, будешь брыкаться – старики с тобой по-другому побазарят. Они умеют учить салаг уважению. Ещё спасибо скажешь, когда до старика дослужишь. Если дослужишь...

За спиной Гареева посмеивались солдаты его призыва Геращенко, Цыденов и Сомов, друзья и свита сержанта. Они считали, что поступают по справедливости, заставляя других терпеть то, что раньше вытерпели сами. На то и армия.

В общем-то служить оказалось хоть и трудно, но можно. Пашка был по воинской специальности прожектористом, но ходил в наряды по охране границы – двенадцать часов через двенадцать, а иногда и сутки через двенадцать часов – народа на заставе немного, каждый человек на счету. Офицеры до мелочей знали своё дело и понимали солдат, а солдаты знали, что их командира заставы капитана Хохлова легче убить, чем купить. Но и убить его никому не удавалось, ни афганским моджахедам, после окончания открытой войны с неверными переключившимся на тихую войну, в которой пулями и снарядами стали опиум и героин, ни боевикам Славы Большого, их партнёра по эту сторону границы.

Шелестели слухи, что раньше служил Большой офицером Советской Армии, воевал в Афганистане. Что был он рослым и очень сильным. Точно о нём знали только, что Большой беспощаден и не скуп. На каждый перехваченный пограничниками героинный караван Слава обязательно отвечал убийством офицера, нападением на пост или обстрелом заставы. Зато и те из пограничного офицерства, с кем ему удавалось найти общий язык, выходили в отставку вполне обеспеченными людьми. Он собрал вокруг себя армию кормившихся наркотрафиком людей, прекрасно знавших все перевалы и тропы Бадахшана и умевших убивать, не рассуждая.

Настало лето. Асфальт плаца нагревался и жёг ноги даже через сапоги. Солдаты копали в горах золотой корень, чтобы долгими зимними вечерами заваривать из него необычайной вкусоности чай. И в запас – увезти домой. Втихаря от офицеров варили мумиё и ставили барагу из облепихи.

Пашка так и не научился «уважать стариков», и отношения с Гареевым дозревали, как нарыв. Однажды в прохладном и пустом по летнему времени гараже компания Гареева решила раз и навсегда проучить салагу. На её стороне был численный перевес, а у Пашки – несколько лет занятий боксом. Исклётанный солдатскими ремнями с тяжёлыми бляхами, он устоял. Его оставили в покое, хотя Гареев и продолжал прилюдно цепляться даже по мелочам.

Приближалась осень. С деревьев вокруг заставы сыпались спелые абрикосы. Старшина заставы варил из них компот. Этот компот стоял в огромной кастрюле посреди столовой, и он заставлял солдат пить своё варево вместо воды, «шоб добро нэ пропадало». В ноябре выпал снег. Однажды к самой оgrade заставы подошёл снежный барс, заставив служебных собак забиться в угол вольеры и поднять вой, на который

прибежал дежурный наряд. Грациозная кошка по-хозяйски прошлась вокруг заставы и спокойно вернулась в горы. Время от времени в горы уходил капитан Хохлов – среднего роста, сероглазый, сухощавый и жилистый офицер – поохотиться на архаров. И всегда возвращался со свежим мясом к солдатскому столу. Когда снег забил все тропы и перевалы, служить стало спокойнее – караванный наркотрафик на время прекратился.

А снег в горах оставался белым и чистым до самой весны...

– Приказываю выступить на охрану Государственной границы Российской Федерации. Вид наряда – секрет.

Капитан Хохлов был прав. В горах Памира они всё-таки охраняли границу России, до которой отсюда были тысячи километров, горы и пустыни. Пограничники прыгали в кузов ГАЗ-66. В голову маленькой колонны выдвигался бэтээр сопровождения, и она покидала заставу. «Вид наряда – секрет» означало, что сегодня они будут под прикрытием стен македонки. Именно так – македонками – назывались маленькие крепости, с незапамятных времён тянувшиеся вдоль этого, южного ответвления Великого Шёлкового пути. Вряд ли все они были возведены солдатами Александра Македонского. Большие крепости Каахка и Ямчун, от которых теперь остались только отдельные башни, появились на несколько веков позднее походов великого завоевателя, и всё же успели повидать под своими стенами персов, железного хромца Тамерлана и множество иных царей и полководцев. Места для возведения этих укреплений были выбраны так хорошо, что русским пограничникам осталось только воспользоваться творениями давно забытых фортификаторов древности. За стенами македонок было спокойнее, а с высоты их башен открывался вид на многие километры вокруг. И караваны «из-за речки» не могли пройти мимо незамеченными.

На исходе зимы Пашка получил два письма, от мамы и от Веры. В них было об одном: дяди Толи Аверина больше нет.

...Ближе к концу рабочего дня механик Аверин решил сходить в дальнюю, зажатую горным давлением и брошенную лаву посмотреть, что можно снять и пустить в дело с оставленного там оборудования. В этой лаве у него и прихватило сердце, измотанное двадцатью годами тяжёлой работы и авралов. А когда смена закончилась и ламповая доложила, что жетон Аверина остался на стенде, сначала новая смена обыскала всё вокруг, потом дозвонились людям из предыдущей смены и один из них вспомнил, куда собирался идти Аверин, и только тогда...

Последнее, что успел он увидеть – вспышки «шахтёрок» бежавших к нему людей.

Весной, когда оставались недели до демобилизации, командование предложило желающим перейти на службу по контракту. Из писем матери и Миши Пашка знал – волна закрытия шахт докатилась до Угольного и накрыла его. Но и на тех шахтах, что продолжали работать, задолженности по зарплате доходили до года. Пашка подумал и подписал контракт. Полгода назад так же поступил его недоброжелатель Гареев – детдомовцу Гарееву вовсе некуда было податься, и он продолжал тихую вражду с Пашкой. Но это уже были мелочи, поскольку все гареевские друзья демобилизовались, а новых он не завёл. И только гланды по-прежнему регулярно наказывали Пашку за промоченные ноги.

Сошёл снег с троп и перевалов, и разведка погранотряда засекла выдвижение к границе большого каравана с грузами для Славы Большого, первого каравана в этом году. Он был окружен в одном из ущелий на участке заставы Дарай-Санг и после боя взят.

– Приказываю выступить на охрану Государственной границы Российской Федерации. Вид наряда – секрет. Старший наряда – сержант Гареев.

Два заставских ГАЗ-66 стояли в ремонте, и Хохлов решил отправить наряды на бэтэрах сопровождения. Хоть и менее комфортно, зато безопаснее.

«Так, – прикидывал Пашка, – десантный отсек семиместный, а нас вместе с Гареевым восемь. Кому-то придётся ехать на броне». Он не ошибся.

– Наряд, по местам! – голос Гареева властен и резок, – Громов, как самый горячий, на броню. Заодно и остынет.

Ладно, переживём. Пашка плотней застегнул надетый поверх бронежилета бушлат. Весна весной, а холод холодом. Он укрылся от встречного ветра за башней и устроился поудобнее. Солнце стояло справа по ходу движения, и Пашка подставил ему лицо. Потому и не видел, как из кустов слева от дороги, подступавших шагов на тридцать к ней, в борт бэтэра ударил гранатомёт. Взрывная волна изнутри разодрала броню, осколки рубанули по бронежилету и ничем не защищённым ногам. Волна подбросила Пашку и швырнула вниз, на камни придорожного обрыва. Темнота сомкнулась над ним, и он уже не видел, как люди из кустов вlepили вторую гранату, добывая развороченный взрывом горящий бэтэр, а потом ушли в заросшую кустами расщелину. Были ли это афганские моджахеда или боевики Славы Большого, какая разница?

А через неделю мать получила извещение о его смерти. Офицер из военкомата терпеливо объяснял, что ехать туда не надо, дорога дальняя, тело привезут в цинковом гробу и вскрывать его нельзя, просто не нужно...

Три дня она никуда не выходила из дома, а когда вышла – высохшая, в чёрном, покрывшая густо меченные сединой волосы чёрным платком, её соседка Аверина подумала: «Что это за старуха от Громовых вышла?». Екатерина Сергеевна жила теперь, как по инерции – ходила на работу, что-то варила, что-то стирала, коротая за всем этим время до совершения последнего дела в жизни, похорон сына. Но военкомат опять переносил сроки, уговаривал терпеть и ждать.

Так прошло полтора месяца. Громова стояла на перроне. Поезд прибыл, она бросилась к почтово-багажному вагону. Потом к вагону-рефрижератору в самой голове состава, потом опять к почтово-багажному. Тогда и услышала слабый вскрик:

– Мама! Мамочка!

Мать обомлела. За два вагона от почтово-багажного, возле тамбура обычного пассажирского вагона, опираясь на костыли, стоял её Пашенька. Проводница подавала сыну сумку с вещами, когда у матери подкосились ноги. Сумка упала на перрон, а Пашка, неумело выбрасывая вперёд костыли, рванулся к почтово-багажному.

Солдат пришёл в себя только в реанимационном отделении военного госпиталя Душанбе, куда доставил его «борт» прямо из Ишкoшима с сильным сотрясением мозга, множественными рваными ранами ног и большой потерей крови. Оперировавший Громова хирург сказал, когда раненый очнулся:

– В рубашке вы родились, рядовой.

– Тогда уж в бронежилете, – попробовал пошутить серый, как застиранная простыня, рядовой и снова потерял сознание.

Окончательно придя в себя, вспомнил парень пророчество цыганки на красном вокзале: «от одной смерти враг тебе уйти поможет». Так и вышло – Гареев, не ведая, не желая, командой «Громов – на броню» спас его от неминуемой смерти, а сам погиб.

Из госпиталя Пашка написал матери: подранили меня, ничего страшного, лежу в госпитале, скоро выпишут, обещают отпустить домой. Незадолго до выписки в открытых по летней жаре дверях возник капитан Хохлов:

– Ну, здравствуй, рядовой Громов!

– Здравия желаю, – попытался вскочить с кровати солдат, но не совладал с ногами.

Они присели рядом, поговорили о новостях заставы. Прозвучала и главная новость:

– Получен приказ о передаче Дарай-Санга местным. Я в Душанбе по поводу этой передачи, а к тебе попрощаться зашёл. Раз застава скоро перестанет быть нашей, на неё после выздоровления дороги нет. Так что, Паша, – совсем не по-уставному сказал капитан, – теперь я тебе не командир, а просто боевой товарищ. И в этом качестве всегда буду рад пожать твою руку.

– Куда вы теперь, товарищ капитан?

– После сдачи уезжаю в Москву. Дело решённое, буду учиться в Академии погранслужбы.

А отправленное солдатом из госпиталя письмо ползло от Душанбе до Угольного так долго, что упало в почтовый ящик на углу Седьмой Восточной и Горького, когда он уже неделю был дома.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В тот самый день Пашку увезли в военный госпиталь Двуреченска, где предстояло ему долечиваться. Дважды, а то и трижды в неделю мать ездила навещать сына. В первый раз с нею попросилась поехать Вера, но потом уже ездила одна. Похоже было на то, что ей не хотелось с кем-то делить эти встречи. Поначалу Екатерина Сергеевна обиделась. Но, поразмыслив, решила – пусть всё идёт, как идёт.

Её состарили лет на пятнадцать те полтора месяца ожидания. Однажды в двуреченском рейсовом автобусе вместе с ней оказался Дрюша Сычёв. Она заметила его ещё на крыльце автовокзала, но он обратил внимание на неё, только сойдясь почти вплотную на посадке:

– Катя, это ты?! Что с тобой, Катя, в действительности?

В его голосе чувствовался испуг, неумело замаскированный под удивление. Это кольнуло женщину: «Сильно я изменилась...».

– Нет, ничего, просто устала за неделю.

И просидела весь путь, отвернувшись к окну. Она больше не мыла полы в ДК «Шахтёр». С того самого дня, когда получила извещение о сыне. Вернувшись, он настоял, чтобы мать ушла из прачечной. И та, при покровительстве давней подруги Галины Гавриловны, перешла работать в тепличное хозяйство шахты. Там, среди роз, огуречных зарослей и гигантских помидорных кустов, ей и дышалось легче, и думалось светлее. Там и надумала: вот бы у сына с Верой сладилось. Было бы хорошо. Она знала Веру чуть не с пеленок, и девушка ей нравилась.

До середины ноября лежал Пашка в госпитале. Иногда его навещал Миша Рожковский. Сначала один, потом вместе с однокурсницей Викой, сероглазой тихоней среднего роста, казавшейся рядом с немаленьким Мишей ещё ниже, даже на высоких каблуках. Миша говорил об их отношениях, как о деле решённом, отложенном только до получения дипломов.

А в середине ноября врачи на целый месяц отпустили Пашку домой. Он сказал матери: велено как можно больше ходить, разрабатывать ноги. И в первый же вечер

ушёл гулять с Верой. «Ну и сынок, – снова кольнуло хозяйку, – только домой, и тут же из дома. А я так старалась, ужин ему праздничный готовила...». Иногда сын гулял по городу и с ней, но чаще с Верой, заходя в кино, в гости к одноклассникам Пашки или подругам Веры по училищу.

Однажды вечером мать сидела у окна в тёмной кухне, поджидая сына. Из окна был хорошо виден освещённый лампочкой над входной дверью двор аверинского дома. Света в окнах не было – Вера гуляла с Пашкой, а её мать ушла в ночную смену. Часы пробили десять, когда во двор вошли Вера и сын. Сначала они стояли у крыльца, и сын держал её руки в своих, будто не хотел отпускать. Думая, что их никто не видит, они принялись целоваться. Потом Вера отстранилась, открыла запертую дверь, они вместе вошли в дом, и в окнах начал загораться свет. Было видно, как в окне, глядевшем на громовский дом, кто-то задёрнул шторы. И свет в нём тут же погас. Какое-то время он ещё лился на улицу из окна кухни, но и этим окном вскоре завладела темнота. Матери было волноваться, а она, и это ей самой показалось странным, улыбнулась и пошла спать.

Екатерина Сергеевна видела удивительный сон, будто ходит по теплицам, срывает яблоки и даёт сыну, который тоже оказался там. А одним яблоком предстал Дрюша Сычёв, начал просить, чтобы его сорвали, но она сказала – ты ещё зеленый, повиси. После этого вокруг неё бегали двое детей, мальчик и девочка. Мальчик догонял девочку, она падала, мальчик поднимал её, и они бегали, держась за руки. Тут сон оборвался от тихого скрипа входной двери. Ещё во власти сна, она успела подумать, откуда могли взяться яблоки в их теплицах, но тут же поняла, что вернулся сын. Он тихонько, не зажигая света, пошёл мимо её спальни в свою комнату, но мать окликнула:

– Сынок, что-то ты сегодня долго.

– Понимаешь, мам, Мишу встретил, он на выходные домой приехал, вот и засиделись.

– Ты же вроде с Верой уходил?

– Так она домой ушла. Тётя Таня ведь на работе, дом без присмотра.

Он потоптался у её двери, шагнул было к себе, но мать спросила спокойно, обыденно, как спрашивают о делах, не раз обсуждённых:

– У тебя с Верой серьёзно или просто так?

«Спалился!», – метнулось в голове Пашки. Хорошо, что было темно, и мать не увидела его лица в этот миг. Ответил ей так же спокойно и обыденно, хотя сердце подпрыгивало в груди:

– Мам, ну ты же меня знаешь. Разве стал бы я с Верой – просто так?

– Вы что-нибудь уже решили?

– Мам, ну ты как маленькая, ей-Богу. Мне ещё контракт дослуживать, а ей училище заканчивать. И вообще, я спать хочу.

– Иди, сынок. Спокойной ночи.

– И тебе, мам.

«Как повзрослел», – с уважением подумала мать о сыне, не подозревая, что он ответил ей теми же словами, какие час назад услышал от Веры на своё «давай поженимся». Глянула на будильник со светящимися стрелками. Было четыре часа ночи, значит, подремать ей осталось ещё два часа.

В последних числах декабря Громов прошёл медкомиссию при госпитале, подтвердившую его пригодность к службе, и в начале января отбыл в Приаргунский погранотряд Забайкальского округа.

В детстве ему попала в руки читанная-перечитанная другими, в изрядно поёртой обложке, с жёлтыми от времени страницами книга писателя Николая Ива-

нова «Застава на Аргуни», и Пашка прочитал её залпом, в два дня. А потом ещё и перечитывал. И вот теперь местом его службы стала одна из аргунских застав. Аргунь бежала из Китая, далеко на востоке сливалась с Шилкой, от них начинался Амур.

На правом противоположном берегу Аргуни почти прямо от воды круто уходил вверх отрог Хингана, могучего горного хребта, протянувшегося от Монголии до Тихого океана. Выделяясь из него, напротив заставы громоздился конус сопки Ёланги, увенчанный восьмиметровой высоты треногой, сооружённой из цельных брёвен. Тренога эта несла на себе китайский флаг, красное с пятью звёздами в верхнем углу полотнище. Наверное, с высоты этой треноги наша левая сторона Аргуни видна была километров на сто, поскольку от левого берега начинались и уходили на север плоские, лишь слегка всхолмленные даурские степи. В них кочевали когда-то дауры, родственный манчжурам народ. Пришли русские казаки. И дауры, не в силах совладать с ними и не желая покориться, откочевали за Аргунь.

Прошло три века, и тем же путём ушли в Манчжурию белые казаки атамана Семёнова, не пожелавшие признать победившей в России Советской власти. Китайцы приняли их и разрешили селиться в городках и деревнях. Ещё через десять лет по Забайкалью прокатились восстания против коллективизации. Они были безжалостно подавлены регулярной армией, и разбитые повстанцы, бывшие красные казаки и партизаны, тоже ушли за кордон. Семёновцы встречали земляков:

– Ну, как расплатилась с вами ваша власть за то, что кровь нашу проливали?

На чужой земле русский тянется к русскому, бывшие враги селились рядом и становились товарищами по изгнанию. Когда, начиная освобождение Китая, Советская Армия перешла границу, следом за ней пошли и особые отделы НКВД. Все казаки по ту сторону – и белые, и красные, кто раньше, а кто позже – были арестованы. Казацких командиров расстреляли, остальных сослали в лагеря. Так расплатилась власть со всеми и за всё.

Он уже привык к новому месту службы. Служить было спокойнее всего весной, перед ледоходом и некоторое время после него, а также поздней осенью, от появления заберегов до образования прочного ледяного покрова. Когда река вставала, открывался самый лёгкий путь для контрабандистов, тащивших из Китая ширпотреб в обход таможи. Иногда они шли поодиночке. Их было труднее заметить, но легче взять. Иногда – группами и с оружием. Случались у пограничников и другие заботы. Однажды искали и нашли заблудившихся школьников из деревни ниже по течению. А недавно служебная собака помогла отыскать похищенный из сельсовета сейф с деньгами. Всё-таки служить на русской земле, хотя и на самом её краю, но среди русских людей, было легче. И снег здесь лежал чистым всю зиму.

Прошёл год. Пашка собирался в отпуск, предвкушая тепло родного дома, встречу с мамой и – особенно! – с Верой. В кармане уже лежали билеты на поезд до Читы и самолёт до Новосибирска, когда дежурный вызвал Пашку к командиру заставы и тот передал ему заверенную врачом телеграмму о смерти матери.

Екатерина Сергеевна несколько дней недомогала, но больничный лист не брала – людей и так не хватало. Потом ей стало легче, а ночью снова приснилось, как мальчик и девочка бегут по двору её дома, только смотрит она на них откуда-то сверху. Утром пришла на работу грустной. Её напарница Тоня, когда готовили тару под помидоры, спросила:

– Что это с тобой, Кать? Вроде ты и тут, и не тут.

– Сон приснился. Хороший.

Они погрузили пустые ящики на тележку и покатали её к помидорной плантации. Когда ящики были полны, вернулись и принялись разгружать. Катя сняла и поставила на пол один ящик, другой, третий. Когда резко выпрямилась с четвёртым, услышала звон в ушах, потеряла сознание и упала. Падая, ударилась виском об угол стоявшего на полу ящика.

«Вот и остался я совсем один на свете». Пашка сидел за опустевшим поминальным столом, и эта мысль, казавшаяся невероятной, нелепой всю дорогу от Приаргунска до Угольного, понемногу начинала обживать в его голове. Входили и выходили соседки, унося пустую посуду в кухню. «Вторые поминки в этом доме». Он вспомнил вдруг, что видел на отцовских похоронах того полного, почти лысого человека, что заплакал сегодня возле маминого гроба. Миша Рожковский хотел посидеть с Пашкой, чтобы ему было не так одиноко, но жена Вика за руку увела Мишу в кухню, что-то выговаривая шёпотом на ходу, и Пашка мысленно поблагодарил её. Через некоторое время они ушли, попрощавшись до завтра. Понемногу все разошлись, даже тётя Таня Аверина, и Вера наконец-то вышла из кухни, сняла передник и села напротив.

– Вот такая встреча у нас получилась, – грустно, но всё же улыбнулся он, и такой же улыбкой ответила Пашке Вера.

Они так и просидели на расстоянии вытянутой руки друг от друга, даже разговаривали полущёпотом, будто боясь неосторожным движением или звуком ранить установившуюся в доме тишину. Давно угас за окнами короткий зимний день, приморозило, крупно и ярко высыпали звёзды, когда он вышел проводить Веру до калитки. Проследил глазами, как она вошла к себе, вернулся в дом, сел на пол возле маминой кровати и только тогда заплакал. Горько, как в детстве, когда мать бинтовала ему ободранные ладони.

Пашка отвёл девять дней по матери и уехал. Вера, у которой оставалось несколько дней последних перед окончанием училища каникул, поехала с ним – проводить до Читы. В Чите они трое суток прожили вместе в гостинице, и Вера вернулась домой, а Пашка в Приаргунск.

Он дослужил оговоренный контрактом срок и в октябре девяносто восьмого года, когда Вера уже работала учителем начальных классов в их родной седьмой школе, возвращался домой. Поезд Владивосток – Новокузнецк шёл через страну, разорённую без войны и революции. Мимо давно не паханных полей и брошенных ферм, зиявших дырами выдранных окон. Мимо заводов, чьи трубы уже не дымили, где единственными признаками хоть какой-то жизни вспыхивали газовые резаки, кромсавшие на металлолом всё, что люди ещё не успели украсть.

В Красноярске стояли полчаса, и Пашка вышел погулять. Вокзальный и околотовзальный люд спешил по своим делам, громкая связь то и дело объявляла прибытия и отправления. Он бродил перроном, поглядывая на пешеходный переход – не мелькнёт ли цветастый цыганский платок: «Не сбыться твоему предсказанию. Мамы нет, спасти от второй смерти некому».

Солдат возвращался домой в Угольный, где уже закрылись Малютка, Центральная и Южная. Где на грани закрытия была Дальняя. Где более-менее стабильно платили зарплату своим работникам только ТЭЦ и железнодорожный узел. Где снег по-прежнему становился чёрным если не через сутки, то через двое. Но там, в конце пути, была Вера.

ВЕРА

Она шептала тогда, в их самую первую ночь в тихом и тёмном аверинском доме, положив кудрявую голову на его плечо:

– Пашенька, сколько я себя помню, столько к тебе тянуло. Но я-то для тебя была «Верка» да «пацанка сопливая». И бесилась, и лезла тебе на глаза, и таскалась хвостом, лишь бы ты заметил. А когда уж повышение получила, «Верунчиком» стала, разорвать тебя хотела со злости. Класе в девятом успокоилась, решила – не судьба. И тогда ты меня замечать начал. А может просто время твоё и моё подошло.

Её волосы касались его щеки, и от этого ему было щекотно и счастливо.

Пашка вышел на перрон в начинавших сгущаться сумерках. Его никто не встречал, да он и сам не хотел. Пока добрался до дома, совсем стемнело. Открыл входную дверь ключом, который всегда был с ним – в Таджикистане, в госпитале, на Аргуни. Дома было тепло – центральное отопление, заведённое ещё отцом, до сих пор исправно работало. Включил свет. Пыли особо ни на чём не было, значит, Вера недавно прибиралась. Оставил сумку у порога, разделся, включил чайник и сел думать, как быть дальше.

Вера готовилась к работе. Написала планы, сложила в сумку ученические тетради. А когда присела в зале к телевизору, сквозь неплотно задёрнутую штору заметила свет в окне соседнего дома.

– Мама, Паша вернулся! – вскочила она и заметалась по дому, одеваясь.

— Ну вернулся, да и вернулся, – попробовала мать остудить её пыл.

– Ах, мама, я тебя умоляю, ты ничего не понимаешь.

– Надолго ты к нему?

– Как получится. Ты дверь не запирай.

– Верка, да ты сдурела – на ночь глядя к мужику мчаться. А вдруг он не один там?

– Тем более, если не один, – Вера стояла в дверях, уже одетая и начинавшая злиться за задержку.

– Верка, бесстыдница! У него там хоть простыня свежая найдётся?

– Вот спасибо, я как-то не подумала.

– Да потому, что думаешь не тем, чем должна думать порядочная девушка.

– Ах, мама, я тебя умоляю! Что имею, тем и думаю, – бросила она уже в дверях, прижимая локтем пакет с простыней.

«Ей бы котлет горячих захватить, накормить парня с дороги, а у неё только любовь на уме», – сокрушалась мать, укоряя себя, что поздно вспомнила об этом.

Дочь пришла утром, попила чаю и ушла на работу. Вернувшись, подготовилась к урокам и снова ушла, прихватив полотенце, зубную щётку и косметичку.

– Вера, ты же учительница, что люди подумают? – пробовала увещевать её мать. Спустя неделю такой жизни Павел Громов и Вера Аверина подали заявление в ЗАГС, а перед Новым годом стали мужем и женой. К тому времени Пашка снова работал на Восточной. На том самом участке, с какого уходил в армию. Его сразу предупредили, что первую зарплату ждать придётся долго, но с чего-то надо начинать, и он начал с шахтёрской каймы вокруг глаз.

Прошло время, и вот однажды летом, когда Пашка ушёл во вторую смену, с четырёх до десяти, Вера через калитку в изгороди, устроенную мужем, чтобы ходить к матери напрямую, вошла в родной дом.

– Что-то не начинается у меня, мама.

– Давно?

- Три недели задержка.
- Купи тест, проверься.
- Уже.
- Ну, и ...? – насторожилась мать.
- Да, мамочка, да.
- Паша знает?
- Придёт с работы, скажу.

До конца смены оставалось два часа, когда в лаве затрещал едва расслышанный в шуме работы телефон, громоздкий аппарат, упрятанный, как и всё электрооборудование под землёй, во взрывобезопасную оболочку. Начальник участка приказал:

– Прорвалась вода, топит двухсотый. Останавливайте комплекс и бегом туда – перемычку ставить.

Спустились на двухсотый горизонт. Там командовали горноспасатели. Подошли вагонетки, гружёные мешками с песком и глиной. Пашка забросил один на плечо и шагнул в ледяную воду. «Копец гландам», – подумал он, когда первые струйки воды перелились через голенища сапог. Проваливаясь по пояс, уже не думал о них.

К двум часам ночи аварийные работы закончились. Уставший и насквозь промёрзший Пашка пытался прийти в себя под струями горячей воды в душевой, когда гланды начали сдавливать горло. Пока добрался домой, дышалось уже с трудом. Ноги еле держали налитое тяжестью тело. Он упал, и это разбудило Веру. «Выпивали после смены?», – спросонья подумала она, услышав, как завалился на кухне муж. Накинула халат, зашла в тёмную кухню:

– Паша, что с тобой?

Он попытался ответить, но не смог. Прерывистое, сквозь хрип, дыхание само сказало за него. Вера щёлкнула выключателем, глянула в лицо мужа и побежала через огород за матерью. Вдвоём они втащили на кровать полыхающее жаром, совсем обесилевшее тело.

– Где у тебя мёд?!

Вера кинулась в кладовку за мёдом.

– Кружку большую железную!

Брякнулась на пол жёлтая эмалированная кружка почти литровой вместимости. Мать подхватила её, поставила на плиту, включив конфорку на максимум:

– Беги ко мне. В шкафу за банками с мукой бутылка коньяка стоит.

Она перекладывала мёд в кружку и думала: «Только бы успеть, только бы успеть!». Вера не сразу нашла эту бутылку, купленную ещё для дня рождения отца, да так и оставшуюся в известном одной матери месте. А когда вернулась, мёд в кружке уже закипал. Мать сорвала с бутылки пробку и вылила коньяк прямо в кипящий мёд. Через полотенце прихватила горячую кружку и поднесла к губам задышавшегося Пашки:

– Пей!

Он попробовал отхлебнуть. Горячее варево обожгло губы и язык, Пашка отдёргнул голову, едва не выбив из рук спасительную кружку.

– Пашенька, да что же ты? Ведь умрёшь, как мы без тебя одни?

Вереницы похорон, череда людей, съеденных безжалостной угольной прорвой под городом, лицо её Толи – всё это в один миг пролетело перед глазами шахтёрской жены Татьяны Авериной:

– Пашенька, сыночек, пей! – крикнула она в посиневшее, с закрытыми уже глазами лицо Пашки и притиснула к его губам жёлтую эмалированную посудину.

«Пашенька, сыночек, пей!» – услышал задыхающийся человек знакомый голос. «Мама просит, надо пить», – устало подумал он. Совсем рядом извергался вулкан, жерло было возле самых губ, и Пашка глотнул огонь. Потом ещё, ещё и ещё. Огонь растекался, заливая улицы и закоулки души. Когда дошёл до сердца, Пашка упал на самое дно ущелья Дарай-Санг. Ущелья Смерти. Отсюда, с самого дна, действительно не было видно неба, только серое марево, с каждой секундой темнея, колыхалось перед лицом. Стены ущелья сходились так близко, что совсем передавили горло. «Ничего, ещё немного... потерплю... я же сделал, как мама сказала... значит, будет хорошо...», – кружилось в голове, и стены ущелья чуть-чуть, почти незаметно, отодвинулись. Потом ещё чуть-чуть. Темнота окружала со всех сторон, но это была какая-то другая темнота, знакомая и не страшная. «Да это я в шахте, – понял Пашка, – фонарь погас, вот и темно. Полежу, отдохну, включу фонарь и пойду домой. Меня же Вера ждёт». И уснул.

Он проснулся только к вечеру. Саднило горло, болели обожжённые нёбо и язык, но дышалось легко и свободно. Две недели провёл Пашка на больничном, заодно и гланды удалил.

Разрез Степной, открытый на излёте перестройки в степи между Шанхаем и Дальним, переживал, как и вся Россия, не лучшие времена, скрипя и карабкаясь вместе с ней. Миша Рожковский пришёл работать сюда по настоятельному совету тестя Петра Фёдоровича. Пётр Фёдорович Гладких был в области фигурой известной. Ещё в середине перестройки, учуяв, к чему дело катится, Гладких по собственному желанию ушёл с высокого поста в областной партийной иерархии на скромную должность заместителя начальника управления по сбыту угля. В девяносто первом, когда СССР трещал и разваливался, был уже начальником Углесбыта, а к концу «лихих девяностых» руководил компанией, владевшей акциями полутора десятков шахт и разрезов. Властный прагматик, жёсткий с подчинёнными и державший дистанцию со всеми остальными, Гладких только рядом с женой и с дочерью Викой снимал с души бронезилет. Он сказал дочери, когда та привела Мишу домой знакомить с родителями:

– В этом парне есть стержень, и раз ты его выбрала – быть по сему.

Миша начал с горного мастера, а теперь работал заместителем начальника участка. Друзья стояли на борту разреза:

– Паша, не держись за шахту. Ей жить осталось несколько лет, запасы выработаны. И вообще – я раньше думал, что только у нас такая смертность шахтёрская. А теперь знаю – в любой шахте каждый миллион тонн угля две человеческие жизни берёт. Ты и по судьбе отца это знаешь, и по соседу вашему дяде Толе, а теперь на себе испытал.

– Что мне делать, Миша? Я только уголь копать научился.

– Приходи сюда. Осмотришься – сам поймёшь, к чему у тебя душа лежит.

И добавил:

– Тесть мой на Степной разрез большие виды имеет. Даже начал переговоры с немцами о поставках новой техники.

Они замолчали, оглядывая открывавшуюся с борта картину – Миша по-хозяйски, Пашка с интересом. Обнажённые угольные пласты, жёлто-оранжевые кубы экскаваторов с выдвинутыми вперёд и вверх консолями стрел, грязно-коричневые вереницы вагонов, бульдозеры в облаках пыли. И небо над головой. Летом с него будет падать дождь, зимой снег, но никогда небо не упадёт на голову.

– Заходил вчера в школу за Верой и встретил вашу Лену. Она тоже теперь в седьмой работает?

– Да, нынче окончила филфак, папа её поближе к себе взял. Ему всегда нравилось Лену опекать.

– Как у неё жизнь складывается? Она пока Рожковская?

– Представляешь, шесть лет прошло, а до сих пор держит на столе фотографию, где они с Гришей на его проводах.

– Забыть не может? Его трудно забыть. Тоже не могу. И не хочу.

– Папа недавно компьютером обзавёлся, интернет осваивает. Так Лена раньше папы в нём разобралась и теперь с кем-то переписывается. Спросил: «У тебя роман по переписке?» – молчит и улыбается.

Через неделю Пашку приняли на разрез Степной.

Однажды июльским утром 2006 года, обещавшим жаркий день, который снова раскалит угольные пласты так, что в забоях до утра нечем будет дышать, мобильник в кармане механика третьего участка Громова заиграл мелодию из «Джентльменов удачи». Он ответил, заранее зная, чья фамилия высветилась на дисплее:

– Здравствуйте, Николай Петрович. Слушаю.

– Здравствуй, Паша. Если ты ещё не на экскаваторах, зайди ко мне.

Громов поднялся на второй этаж, толкнул дверь в кабинет с табличкой «Главный механик Артёмов Н.П.», за руку поздоровался с хозяином.

– Паша, завтра на монтажную площадку придут первые вагоны с узлами немецкой машины. Я сказал директору, что старшим на выгрузку и начало монтажа «немца» ставлю тебя.

– Да я же в наши машины только-только вникать начал, а тут «немец»!

– Кстати, о немцах. Они уже приехали. В три часа в кабинете главного инженера первое знакомство с ними. Твоё присутствие обязательно.

– Николай Петрович, да не хочу я...

– Паша, не прибедряйся. Всё равно не поверю. А лучше подумай и вечером скажи, кого на твоё место советуешь.

Громов вошёл в кабинет главного инженера последним, когда тот уже приступил к процедуре знакомства.

– Руководитель группы немецких специалистов герр Рудольф Штоль, – произнёс он и сверкнул очками в сторону опоздавшего Громова. Поднялся и слегка поклонился коренастый человек со стрижкой-ёжиком, в белой рубашке под чёрным галстуком.

– Шеф-инженер по монтажу герр Мартин Лаутервассер.

Поднялся высокий, лет под пятьдесят, рыжий с проблесками седины.

– Шеф-инженер по электрооборудованию герр..., – главный инженер сбился и заглянул в бумажку, – герр Гергардт Редлих.

Он продолжал представлять монтажников и сварщиков, но Паша Громов видел только радостно улыбающуюся физиономию Гриши Редлиха, пока не услышал:

– А это Павел Николаевич Громов. Он будет в непосредственном и постоянном контакте с вами при разгрузке и монтаже.

– Так ты, стало быть, Гергардт Гергардтович.

Они сидели на летней кухне Громовых. Вера и Вика Рожковская ушли в прохладные комнаты дома, маленькие Громовы с маленькими Рожковскими, набегавшись по двору, отправились к бабушке Тане пить клубничный компот, и мужчины наслаждались обществом друг друга.

– Вы думали, что я Григорий Григорьевич, – веселился Гриша, – и только бдительное око паспортной службы знало, кто в действительности скрывается под этим именем!

За общим столом уже прозвучал рассказ о годах учёбы в техническом университете Лейпцига. О маленьком городке в Восточной Германии, где все друг друга знают, где в девять часов вечера воскресенья на улицах уже тихо и пусто – люди спят перед началом новой рабочей недели. И о заводе тяжёлого машиностроения в этом городке, ещё с шестидесятых годов поставлявшем во многие страны и в СССР тоже лучшие в мире роторные экскаваторы:

– Когда услышал, что формируется группа специалистов со знанием языка для монтажа наших машин в России, решил – в лепёшку разобьюсь, но попаду в эту группу. Прошёл отбор и лишь тогда узнал конкретный адрес командировки. И посчитал это подарком судьбы. В Германии хорошо. Тихо, уютно и надёжно. Но родина есть родина.

Гриша несколько раз затевал пируэты вокруг темы «Лена Рожковская», но Вера и Вика, будто сговорившись, переводили разговор на другое.

Они сидели на летней кухне, говорили обо всём и ни о чём, перебирая фамилии и судьбы. Скрипнула калитка, ведущая с улицы во двор. Миша сидел у окна:

– Ребята, наша Лена пришла.

И тут оба увидели, как побледнел при этих словах Гриша. Он всегда бледнел в минуты сильного волнения.

Гости ушли. Помогая Вере убирать чистую посуду, Паша спросил:

– Это ведь вы с Викой догадались Лене позвонить?

– А кто же ещё? Мужчины в этих ситуациях, как токующие глухари – слышат только себя и только собой любуются.

Чувствуя по её тону, что дело идёт к выяснению отношений, муж попытался смягчить разговор:

– Нет, вы всё сделали правильно, мы просто хотели дать Грише время освоиться...

Но Вера вела свою тему:

– Оба твоих друга высшее образование имеют. Всё меняется, и очень быстро. Я за восемь лет уже на третью новую программу перехожу, в следующем году снова на курсы повышения поеду. У вас на разрезе компьютеры разве только в туалетах не стоят. А ты всё на уровне советского техникума. Да ещё и гордишься собой! И не думаешь, что скоро никому не нужен будешь! Что двадцать первый век на дворе!

Она заводилась всё сильнее и, наконец, завела его:

– А ты представляешь себе, что такое заочное образование? Какая это нагрузка – и семью обеспечивать, и в другой город мотаться на консультации да на экзамены? Ты же меня тогда совсем дома не увидишь!

– А я тебя дома вижу?! То у него аварии, – она заговорила о муже в третьем лице, как делала в минуты сильного раздражения, – то авралы, то дни рождения дружков! И вообще, – вдруг добавила она совершенно спокойно, – у тебя сын растёт. С кого ему пример брать – с отца, который себе жизнь полегче ищет? Зачем было тогда семью заводить? Сидел бы на этом диване сам с собой в обнимку.

Она резко повернулась, уходя, и услышала вдогонку обиженное:

– Эй, Верунчик, золотой цветочек, языком можно горы свернуть, на нём мозолей не бывает!

«Как хорошо начинался день, – тоскливо подумал Паша, – и как паршиво заканчивается».

ЭПИЛОГ

Прошло семь лет. Андрей Андреевич Сычёв ушёл на пенсию в пятьдесят свежим и здоровым, «а не как другие – помирать». И правда – всё меньше остаётся вокруг людей, помнящих его прозвище Дрюша. Он располнел и совсем облысел. Работать нигде не захотел, да его куда и не звали. По-прежнему выходит на люди только при галстукe. Лето проводит на дачном участке, копаясь в земле. Если гостят внуки и просят рассказать что-нибудь интересное, вспоминает истории из шахтёрской жизни, каких немало услышал за тридцать лет работы. Только в каждой из этих историй главным героем оказывается он, Андрей Андреевич Сычёв. Внуки верят и гордятся своим дедушкой.

Владимир Климов по прозвищу Клим стал мастером спорта по боксу, чемпионом города и области в своём весе. Работал на шахте Центральной. Женился, и у него родились мальчишки-близнецы. Когда шахты начали закрываться, полгода нигде не мог устроиться, потом собрал вокруг себя бывших боксёров и обложил данью таксистов, хозяев небольших магазинов и ларьков. Поначалу дела у «климовских», как назвалась эта группировка, пошли неплохо. Он даже подумывал вложить деньги в легальный бизнес. Но вмешались местные воры в законе. С обеих сторон пролилась кровь. Клим исчез из города вместе с семьёй и парой друзей. Несколько лет о нём ничего не было известно, потом чемпиона начала разыскивать через Интерпол полиция Чехии.

Рыжий Гена Самойленко связал жизнь с армией. Характер у него всё же был тяжёлый, и семьи он не создал. Начинал службу, как и Пашка, в Таджикистане. Служил на Северном Кавказе. Имел боевые награды. Участвовал во второй чеченской войне. Погиб, прикрывая отход своих солдат. Посмертно прапорщика Самойленко представили к званию Героя России, но кто-то в высоких штабах решил, что эта награда нужнее живому человеку, и родителям Гены городской военком передал орден Мужества.

Миша Рожковский теперь главный технолог разреза. У него отдельный кабинет, но в кабинете он бывает только в самом начале и в самом конце рабочего дня, проводя всё остальное время в заботах с начальниками участков и опытными машинистами – пласты на разрезе сложные и технологию приходится постоянно корректировать. Недавно приезжал его тесть Гладких. Послушал выступление Миши на совещании у директора, а вечером пробурчал, сидя на диване между внуком и внучкой:

– Как технолог ты состоялся. Как руководитель, тоже кое-что можешь. Хочу увидеть, каким ты будешь экономистом.

И Миша всё чаще думает о том, что пора заняться вторым высшим образованием.

Когда немцы расширили поставки своей техники на весь огромный горно-металлургический регион, Гриша Редлих перешёл в сервисную службу своей фирмы. Он женился и переехал жить в областной центр, где эта служба теперь базируется. Но часто бывает в Угльном, и не только по работе – Рожковские, Редлихи и Громы всегда вместе встречают Новый год и День шахтёра, отмечают рождения и годовщины.

Леонид Матвеевич Рожковский в седьмой школе. Уже не директорствует, а только преподаёт свою любимую химию. Через полгода он выйдет на пенсию, но уходить из школы не собирается. Его дочь Лена вышла замуж и уехала. На новом месте ученики и коллеги знают её как Елену Леонидовну Редлих.

Громов работает старшим механиком смены. Сменная работа даёт ему возможность заочно учиться в Дзуреченском политехническом. Через год защита диплома горного инженера-электромеханика, после чего закончится относительно спокойная жизнь. Артёмов сказал недавно:

– Получишь диплом, переведу своим заместителем.

Иногда у Пашки случаются приступы боли в изрубленных осколками ногах, и он уходит в летнюю кухню, поудобнее укладывает на старенький диван налитые этой болью ноги, пьёт свежий чай и пытается читать. Знает, что в таком состоянии бесполезно браться за материалы по учёбе или работе, поэтому захватывает с собой романы Валентина Пикуля или Бориса Акунина, которые хоть ненадолго, но отвлекают его. Бывает – остаётся там ночевать, чтобы не пугать стопами Веру и детей.

Если ночью выпадает свежий снег, к утру он становится серым, а к следующему – почти чёрным.

2013

Анатолий Киприянович МАСТЕРЕНКО

– родился в 1927 году в г. Шепетовке на Украине. В 1945-1948 гг. учился во Владивостокском военно-морском подготовительном училище, после окончания которого был зачислен в Тихоокеанское высшее военно-морское училище. В 1952 году получил диплом офицера-штурмана, служил на тральщиках Тихоокеанского и Черноморского флотов.

В 1961 году назначен военпредом на одно из томских предприятий. До окончания службы руководил военной приемкой. После окончания службы остался жить в Томске.

За все годы поэтического творчества А.К. Мастеренко издал много сборников стихов: «Сентябрьская россыпь», «На берегу Амурского залива», «Избранные стихи», «На волнах жизни», «Зори осенние», «Родиться русским», «Окно в прошлое».

Умер в 2013 году в Томске.

У берегов Албании

И в штормы райский уголок
Адриатические воды.
Я только раз увидеть мог
Такое диво у Природы.

Лазурь небес и зелень моря,
И изумрудные сады,
И дремлют чайки, волнам вторя,
Живого жемчуга следы.

Ленивый ветер на просторе
Прохладой льется с дальних гор...
Адриатическое море
Тревожит память до сих пор.

Рассвет в море

*Разве зори – не ласка твоя,
И лучи не твои поцелуи?*

Николай Клюев.

Расстилало восходящее
Солнце ленточку зари.
Было чудо настоящее:
Гасли звёзды-фонари.

Штилевала гладью зеркала
Черноморская волна.
В небе тучек ранних не было,
Лишь скучала там луна.

Нарушалось то спокойствие
Вдаль спешащим кораблём.
Видно было удовольствие
Резать гладь воды на нём.

От форштевня расширились
Пены белые усы.
За кормою оставались
Кочки вспаханной воды.

Расширяло восходящее
Солнце ленточку зари...
Уходили в даль спешащие
На траленье корабли.

Синица

Совсем ручною
Стала птица
В окне зимою
Моя синица.

А храброй стала
Обыкновенно:
Кусочек сала
Клюёт отменно.

Вторую зиму
Она в окошке.
Порой ей кину
Ещё и крошки.

И я гадаю,
Что ей дороже:
Что угощаю
Иль не тревожу?

Шум прибоя

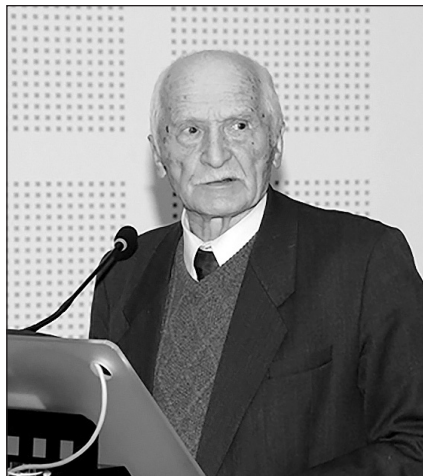
Я слышу до сих пор прибой,
Волны поднявшейся накат
И уносящей за собой
Песчинок мириадный ряд.

И слышу волн с песком шептанье,
Душевный мягкий разговор,
И рокот злобного ворчанья
Средь скал, где вечный пеносбор.

Хотя прошло уж много лет,
Я ясно слышу шум прибоя.
Я этой памятью согрет
И тем, что нет душе покоя.

Юрий Михайлович КЛЮЧНИКОВ

– известный российский поэт, философ, эссеист, переводчик, путешественник – родился в рабочей семье 24 декабря 1930 году в городе Лебедин (Восточная Украина), где жил до начала войны. В 1941 году вместе с родителями был эвакуирован вначале в Саратовскую область, а в 1942 году – в город Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе. С 1942 года и до последних дней жил в Сибири. В 1949 году поступил в Томский университет на филологический факультет, который закончил в 1954 году.



После переезда в Новосибирск в 1960 году был радиожурналистом. В 1964-м во время «оттепели» был направлен в Москву на двухлетнее обучение в Высшую партийную школу на факультет журналистики. Вернувшись в Новосибирск, работал главным редактором Новосибирского радио, Западно-Сибирской студии кинохроники, выпускал восточную литературу в сибирском отделении издательства «Наука».

В конце семидесятых увлекся богоискательством, восточной философией, учением Н.К. Рериха, в 1979 году был обвинен в идеализме и богоискательстве. После трехлетних партийных разбирательств (дело доходило до ЦК и Политбюро) уволен из издательства как человек с идеалистическим мировоззрением. С этого года и до выхода на пенсию в 1991 году работал грузчиком и такелажником на новосибирских заводах.

Стихи начал писать с 12 лет, посещал литературный кружок в Ленинске-Кузнецком, публиковался в местной печати. Писал рассказы и пьесы, которые не публиковались, но по которым на новосибирском радио шли радиопьесы, пользовавшиеся большим успехом у зрителей. Но «толстые» московские издания не печатали стихов Ю. Ключникова (с 1971 по 1981-й он получил из московских журналов около 100 отказов). Первая серьезная публикация всего лишь одного стихотворения состоялась в 1982 году в журнале «Москва». Затем еще одно стихотворение вышло в сборнике «Час России», собранного Романом Солнцевым и Виктором Астафьевым (который отобрал туда несколько стихотворений). В самом начале перестройки вышли еще несколько подборок поэта в журналах «Смена», «Студенческий меридиан» и «Сибирские огни». Творчество Ключникова высоко оценивали известные, принадлежащие к самым разным, нередко противоположным идеологическим лагерям, литераторы России, однако в Союз писателей России его приняли только в 2004 году в возрасте 74 лет.

С 1990 по 2013 год Юрий Михайлович опубликовал 15 книг стихов, публицистики и прозы.

Академик Петровской Академии наук. Автор более 1800 стихотворений. Лауреат III Славянского литературного форума «Золотой Витязь».

ЧАС ПРИХОДИТ СТАНОВИТЬСЯ БРАТЬЯМИ

* * *

– Судьба немыслима без драк?
Мудрец кивнул согласно:
– Так.
– И без любви везде беда?
Мудрец ответил кратко:
– Да.
– Выходит, правды две в судьбе?
– Одна.
– Но в чем она?
– В тебе.

То ныряем, то наверх подкинет
Жизни бесконечная волна.
Бездна нам мерещится под килем,
там, где лишь полфута глубина.

И плывём, глаза от страха жмуря,
по житейской луже штормовой,
не вникая в истинные бури,
что гремят над нашей головой.

Мне говорили – Бога нет,
я верил в это,
пока не загорелся Свет
в душе поэта.
Мне говорили – жди наград
за смертной дверцей,
пока не вник я – рай и ад
в моём же сердце.

Апрельский плэнер

Снова стук колёс и по привычке
строчек акварельные мазки...
Возвращаюсь с дачи в электричке,
домики за окнами, дымки.
Как сто лет назад маячат те же
барскими дворцами среди изб
чьи-то горделивые коттеджи.
Время – удивительный артист.

Под какими масками ни бродит
век за веком, та же в нём душа.
...На скамейке у окна напротив
рты одеколонят два бомжа.
Без закуски, прямо из флакона
греются пахучим зельем всласть.
Обсуждают новые законы,
критикуют нынешнюю власть.
Билетёрша с милиционером
входят через тамбур в наш вагон.
Оба сжались в два комочка серых,
торопливо прячут свой флакон.
На стоянке их выводит в слякоть
молчаливый милиционер.
Улыбнуться мне или заплакать,
наблюдая этакий пленэр.

Индюк

Баснями ославленная птица,
как тебе в молве не повезло!
Ведь своей осанкою гордиться
можешь всем обидчикам назло.
От когтей до розовой подвески
возле клюва ты чертовски мил.
Раздуваешь грудь совсем по-детски –
так ведь это от избытка сил.
Если близко подойдёт прохожий,
птичью стаю защищаешь так.
Но обидеть никого не можешь,
ты природой создан не для драк.
Зря тебя в пословицах да баснях
оперяют под иных людей.
Наши индюки куда опасней
по причине серости своей.

* * *

Декабрьское позднее солнце
над спящей Россией встаёт.
Всё ждёт, ну когда же проснётся
её окаянный народ.
А он, избалованный бедами,
познавший суму да тюрьму,
и сам уже толком не ведает,
зачем просыпаться ему?

Воспоминание о панфиловцах

*«Велика Россия, но отступать некуда,
позади – Москва»*

Политрук Клочков

Эх, Москва, не жди от нас сердечности,
кончилась твоя над нами власть.
Не сдалась в бою фашистской нечисти,
доллару сегодня продана.
Но его владычеству безбрежному
неподвластна вся родная ширь.
Отступать нам некуда по-прежнему,
только за спиной теперь Сибирь.

Хорошего воина пули кусают,
как правило, насмерть в житейскую рань.
Француз говорил: если тридцать гусару
и жив – значит, он несомненная дрянь.
И Пушкин, и Байрон, и Блок, и Есенин
давно в моём возрасте стали травой.
Прости меня, муза, за годы везенья,
за то, что пишу, и за то, что живой.

* * *

Не жди от поэтов хвалебного эха,
не любят поэты чужого успеха.
Зато воробьями, кто в лад, кто нескладно,
чирикать готовы взахлёб и бесплатно.

* * *

Быть может, зря я против зла бунтую
и за собой в грядущее зову.
Никто ещё не видит даль святую,
не знает, как держаться на плаву.
Не зрю и я благословенный берег,
не слышу долгожданный благовест.
Но сердце верит, непреклонно верит,
что Бог не выдаст, и свинья не съест.

* * *

Сумерки весь день теснятся в комнате,
за окном и в настроенье дым.
Хорошо бы без излишней копоты
уступить дорогу молодым.

Передать полуживому миру
всё, чем жизнь во все века красна,
в том числе настроенную лиру,
ежели кому-нибудь нужна.

* * *

Поранит вдруг строка поэта,
и ты прошепчешь:
— Боже мой!
Ведь это я сказал! И это —
как возвращение домой
из путешествия, где ярче
всех впечатлений — отчий дым.
Удача гения маячит
в тумане светом золотым.
Она бросает семя-зависть
в азарт рабочей борозды —
и, смотришь, солнечная завязь
в тебе взрастит свои плоды.

* * *

Весь день вещает телеящик
о том, что в прошлом жуть и грусть.
Там очень много говорящих
не выговаривают «Русь»!
Но учат, как мне не хромая
шагать вперёд и где мой путь.
Мне остаётся лишь вздохнуть,
что их речей не понимаю.

* * *

В час, когда встаёт над словоблудием
солнце Правды — луч грядущих дней,
сделай меня, Господи, орудием,
но не мести — милости Твоей!

* * *

А сатане от нас не нужно много,
и он духовной жаждою томим —
отбить в душе людей хоть пядь у Бога,
всё остальное сами отдадим.

* * *

В эту пору, чёрную, недобрую,
старые раненья береда,
почему я обращаюсь к образу
страшного народного вождя?

Вовсе не затем, чтоб утвердиться
в незаконных ужасах страны –
вместе с ним прошли мы репетицию
всех угроз и козней сатаны.

Час приходит становиться братьями.
Божий утверждается закон.
Мы своими
прошлому проклятьями
лишь зовём диктатора на трон.

Если за рассветными туманами
видеть хочешь солнечные дни,
ночи,
что в глухую бездну канули,
добрыми словами помяни.

Дом и дым

Ухожу опять в своё молчание,
как Домой, где не нужны слова.
Дом и дым похожи по звучанию,
разницу рождает голова.

Лишь она, словами душу мучая,
делит жизнь на плотность и на сон.
А у Бога в жизни всё текучее,
он неуловим и невесом.

Вот и ты, поэт, неутомимо,
жив пока, служи любым словам:
тем, что тают в небе струйкой дыма
и в огне сгорающим дровам.

* * *

Твой удел, поэт, во всём изверься,
в простоту зарыться, словно в ересь.
А затем простое, как мычание,
переплавить в полное молчание.

* * *

Как чудно солнечное утро
возникло вдруг из серых дней.
Я просыпаюсь с чувством, будто
вернулся к юности своей.

По стриженной траве газона
босой несу ведро воды.

На мой восторг взирают сонно
с улыбкой молодой цветы.

Им хорошо себя не помнить,
не знать, чем станут в ноябре.
Увы, ношу ведро неполным
и ближе, ближе к той поре...

Но хочешь ли, не зная грусти,
земные прихоти терпеть,
из рук не выпуская гусли,
одни и те же песни петь?

Торить бессмертия дорогу.
не уходить в небесный дым...
Да, хочешь ли, подобно Богу,
быть бесконечно молодым?

Милан ВУКОВИЧ

МОЯ СУДЬБА ТРЕПЕЩЕТ СКВОЗЬ НОЧИ

Солнце, всё в дрожи,
Идёт в безнадёжье.
Крови огромные капли –
Вот и закат. Не так ли?
Убогого дух в коросте
К себе призывает в гости
Бога, спящего на погосте.

Ясность

Взволнует ли тот, кто всей жизнью владел,
Сегодня владеет и завтра вновь будет?
Но я отвергаю несчастный удел
Свалиться в болото бездонное буден.
Пушай прогрохочет набат в голове,
Печально обнимет кресты на могилах,
И странники снова на чёрной траве
Замрут, если их только смерть торопила.
Пушай прекратится тоски кутерьма,
Пусть жизнь наша станет вдруг радостной явно.
Ведь даже и мёртвые сходят с ума
Под этими взглядами глаз звероямных.

Подозрение

Я леденею, лёжа в рубище,
Вдали от Бога, Сына, Духа,
И стану чёрным в скором будущем,
Кипя в могильной магме слухов.
Мне надоели эти бдения,
К недожитому мраку сходи.
Меня волочат привидения
В грязи, до самой преисподней.
И вот меня покуда лапало
Гнилое сборище уродов,
Мысль на мозги всё время капала,
Что не бывал живым я сроду.

Если решимость у райских врат
Нам постучать позволит посметь,
Знай, это очень не просто, брат,
Должен ведь ты пройти через смерть.

Звёздный ангел мир Господний славит,
Полон его голос дивной дрожи,
Если бедность слишком уж придавит,
Постучит в окно спасеньем Божьим.

Моя судьба трепещет сквозь ночи.
Последний к Вечности мой перевал
Мне скорую смерть, быть может, пророчит,
Но страха пред ней никогда я не знал.

Пока во мраке хмуром Харон
Сквозь молнии Стикса плавал,
Столпились души со всех сторон,
Их ждал с нетерпеньем дьявол.

Пахарь небесный бразду золотит,
Становится день пугливей.
И конь сыплет гордый грохот копыт,
И смерть умирает в гриве.

Сновидение

У смутного берега моря
С его изумрудами пенными
Мне снится сверканье в просторе
И волн усталое пение.

И если заря задремлет,
Глаза и мои закрывая,
Столкнут сонливые трели
В забвенье, забвенье без края.

Сизиф

Проклятье! Сегодня, как прежде,
И нет ни конца и ни края.
Лишь мёртвая в сердце надежда
Льдом талым на солнце играет.

Бреду белизною дороги
И слышу звук чудного зова,
И призрак манит на пороге
Из синего дома без крова.

Зачем меня мучаешь, Боже?
Навеки будь проклятым, камень!
Покуда пигмеи-вельможи
Разводят для дьявола пламень,
И в чёрной таинственной дрожи
Они верещат вечно: «Амен!»

Река без возврата

Давным-давно, той незапамятной порой,
Мы вместе вдаль текли с моей рекой.
Что лучшим спутником был я, никто не скажет,
Сверканью золотому вечной пряжи.
Но я украл всё до последней капли влаги.
В реке ж молчит непостижимость магий.

Необыкновенные товарищи

Лист, весь в лохмотьях, ветер колышет,
Может, походку мою он услышит.
Ну, а пока свою жизнь он не прожил,
Полон до края таинственной дрожи,
Полон недавно красы был предвечной.
Что же осталось? Сплошные увечья.
Сжить каннибалы стремились со свету
Вот и меня, но давно их уж нету.
Но в непроглядности солнечной тьмы
Сможем поделатъ хоть что-нибудь мы?
Но лишь когда-нибудь станет нам ясно, —
Мы ведь не жили, иль жили напрасно.

Из «Небесных катренов»

Где над погостом склоняется дуб,
Чтобы могилу от бури сберечь,
В ней овекает каждый мой зуб
Вечности мёртвая речь.

Если ты до пустоши дойдешь,
Боже мой, прошу тогда: спаси меня.
Сонм чужих богов приносит ложь,
Но не помнит собственного имени.

Мы не бывали знакомы
Среди земной кутерьмы.
Знали на Небе лишь, кто мы,
Прежде чем встретились мы.

Райская птица в перьях своих
Всё Мирозданье скрыла,
Но после полёта, крылья сложив,
Навеки всё позабыла.

Смотрим на берёзу мы, любя.
До чего же белый облик мил!
Есть ли в мире ангел у тебя,
Чтоб нектаром юности поил?

*Перевод с сербского
Евгения Вязанцева*

Александр ПАНОВ

ОТКРЫТЬ ГЛАЗА, УВИДЕТЬ НЕБО

Листопад по лесу бродит.
Дней багряные уста.
Жизнь приходит и уходит –
Остаётся красота.

Догорают краски лета.
Тишины бездонный гул.
Встал у робкого рассвета
Сосен стройный караул.

И любви горит калина.
Дней восторг неповторим.
И вселенной липнет глина
К сапогам литым моим.

Открыть глаза, увидеть небо.
Вбежать на холм, смотреть с холма,
Как ходят в поле волны хлеба,
Скирд золотятся шелома.

Идти вперед, срывая путы
Усталых дней, вчерашних встреч.
В огне сердечной вечной смуты
Мгновенье истины стеречь.

Ни отрицать беспрекословно.
Ни возвышать без должных дел.
И жить светло и полнокровно
Среди созвездий и людей.

* * *

Пусть набат никогда не будет
Звать на бунт и кровавый путь,
И услышат друг друга люди,
Понимая свободы суть.

Возрождаться пора из пепла,
Возрождая исконный дух.
Не желаю в России пекла,
К доброте обостряю слух.

Много рядом людей красивых,
И неважно каких кровей.
В праздник надо любить Россию.
В будни надо любить сильней.

Жизнь возникает и уходит.
Лишь древо времени цветёт.
Но всё сильней в моём народе
Бездушно властвует расчёт.

Стал человек бесчеловечней.
Бездомней стал наш общий дом.
Не слышен голос птицы вещей,
И катит дней безликий ком.

Но всем ветрам назло и выюгам
Цветок души пылает вновь,
И тяжело бежит по кругу,
Из круга вырвавшись, любовь.

Зима пройдёт, настанет лето.
Печаль останется во сне.
Взойдёт романтика рассвета
В моей темнеющей стране.

И, ничего не отрицая,
Сойдутся жизни полюса,
Чтобы звезда страны, мерцая,
Вела нас в русские леса.

Вела в калмыцкие просторы,
Вела в татарские края,
Где предки разрешали споры
Об основаниях бытия.

Ирина ЯБЛОКОВА

НЕИЗВЕСТНОЕ СЧАСТЬЕ МОЁ

* * *

Круто в небо лесенка
К звёздам поднимается.
А сердечко с трещинкой
Бьётся да сбивается.

Колется иголкою,
Аж идти нет мочи...
Вверх – дорожка долгая,
Вниз – всегда короче...

* * *

Живу совсем неправильно –
Стыда по само горлышко.
Тебя, мой божик маленький,
Меняю всё на грошики.

Нет-нет да сердце стукнется –
Душа к ногам повалится...
Когда-нибудь аукнется,
Когда-нибудь помянется...

* * *

Светлане Панжевой

Маленький Ангел, весёлая крошка,
Крылышки сбросил свои,
Чтобы побегать с детьми по дорожкам
Круглой, как мячик, Земли.

Кончилось детство, как добрая сказка,
Время летит – не догнать...
Выросли дети, а Ангел остался,
Чтобы еще поиграть.

Ах, не просты вы, земные дорожки,
Кто же без слёз Вас пройдёт...
Маленький Ангел, весёлая крошка
В сердце актёрском живёт.

Вместе играют и верят, что будет
Счастье и в наших краях:
Вспомнят об ангелах взрослые люди,
Как о забытых друзьях.

* * *

Максу Б.

Глухая крапива,
на ржавом карнизе котёнок.
Бетон островками
дорожку в пыли обозначил.
Случайный попутчик –
мужчина... А может, ребёнок.
И всё, что вокруг –
для него лишь игра, не иначе...

Он мир весь, играя,
Укладывал в лёгкие рифмы,
И ветреным нимбом
Весёлые кудри взметались,
И наши следы каменели
То в сплетни, то в мифы,
То снегом, то пылью,
то серым дождём наполняясь...

Тропинки так круты,
а игры мужские недолги.
И были не смехом
оборваны лёгкие строки.
Но это – потом. А тогда...
Мы бессмертными были.
Как дети бывают.
Как дети и, может быть, боги...

* * *

Опять Театры открывает осень.
И снова всё судьба переплетёт.
И сколько мы о милости ни просим –
Премьера с панихидой совпадёт.

То пляшем, то от горя сатанеем...
Но истины никак мы не поймём,
Что жизнь свою не делаем длиннее,
Откладывая счастье «на потом».

А осень сыплет звёзды, как монеты,
И возлагает листья, как цветы.
Не к бронзовым геройским монументам –
К ногам актёрской вечной нищеты.

Пусть небеса над нами снегом дышат,
И жизнь на «бис» сгибает нас в поклон.
В слезах и водке старые афиши,
И значит, открываем мы сезон...

Песня Нелли

Светлой звездочки лучи
Не возьмешь руками.
Ветры быстрые ничьи
Не запрёшь замками.
В сто ручьёв бежит вода
До окраин света.
Сердце любит навсегда,
Не спрося совета.

Мой любимый, ты скажи:
Я вернусь!
Далеко твой путь лежит...
– Я вернусь.
Истекает наша жизнь.
– Я вернусь...
Ну, хотя бы оглянись...

Оплетает белый снег
Золотые косы.
Ты вернись ко мне во сне,
Ты засмейся просто.
Дольше жизни сердце ждёт,
Сердцу не прикажешь...
Пусть последний день придёт,
Пусть он будет нашим.

Из цикла «Младшие боги»

Глаза – шоколадные вишни,
И бархатный ёжик волос,
Дружочек мой милый, сынишка,
Зачем же так быстро ты рос?

* * *

Как Младшие Боги,
Не ведая страха и боли,
Не слыша запретов,
Предела не чувствуя силам,
Вы сами себе
Назначаете главные роли.
Не зная, что всё уже
Есть в этом мире и было...
Небесные Вы –
И у Мира другой нет заботы.
Само Мирозданье
Затеяно к радости вашей.
И Вы не поверите,
Если расскажет Вам кто-то,
Что тоже для Младших
Окажетесь почвой однажды...

* * *

Бесполые обличья,
И каждый жест – как крик...
Калькированный, птичий,
Неведомый язык...

Смятен и ошарашен
Приличный старый Свет:
Неужто судьбы наши
Пошли на этот бред?

Что их тревожить может?
О чём поют они?
А вышло – всё о том же:
О жизни и любви...

* * *

Теперь уже как будто бы не я
От боли плакала и так любви желала,
Что, кажется, и самоё себя
Не глядя, не торгуясь, обменяла.

Я выжила. Сумела. Я смогла.
И можно дальше жить, легко и просто:
И рана белым шрамом заросла,
И сердце под метровою коростой.

Зима

Я пройду по летящей позёмке,
Ненадолго оставив следы.
И сорвётся мой голос негромкий,
Не коснувшись твоей высоты.

Горло стиснет горячая память,
Остывая железным кольцом...
А дома золотыми глазами
Равнодушно посмотрят в лицо.

И метели сиротскую песню
Запоют, остужая жильё...
Где ж ты бродишь, в каком поднебесье,
Неизвестное счастье моё?..

Театру

Немало я по свету пометалась.
Летела к звёздам. И катилась вниз.
Но каждый раз к тебе я возвращалась,
Чтоб постоять в тени твоих кулис.

Чтоб снова пищу дать воображенью,
А загнанному сердцу отдых дать.
Пусть не любви, хотя бы вдохновенью
Последнего героя отыскать.

Чтоб, зачеркнув определённую буден,
Поверить оживающей душой –
Всё то, что не сбылось, однажды будет.
И всё, конечно, будет хорошо.

Наталья ЛАПТЕВА

В СИБИРИ ОСЕНЬ

* * *

В Сибири осень. Дни летят,
Бегут своею чередою,
И все погоды погостят
Непредсказуемой порою.

И вновь застелется пестро
На бездорожье и ухабье,
Отполыхает, как костром,
Листвой лихое лето бабье.

О, друг природы, на денёк,
Чтоб с летом на год распроститься,
Оставь дела, сядь на пенёк,
Лесной красою зарядиться.

То тут, то там пурпурный всплеск
Рябины в листьях золотистых.
И в тишине, как выстрел, треск
Сосновой веточки смолистой.

Черники матовый глазок
Во мху таинственно мигает...
Щедра на золотой мазок
Царица-Осень расписная!

С Природой хочется на «Вы»
Под шелест крыльев глухариных.
Вы и Она сквозь вязь листья
Во всей красе, как на смотрах.

Небо хмурится печально.
Осень... Тема актуальна.
Слёзы – серые дождики.
Солнце – грязь, без солнца – льдинки.

Вновь утрачены надежды.
Ветер рвёт с берёз одежды:
Не оставил им ни юбки!
Зябко ёжятся голубки:
«Это что за распорядок!»
Три сезона их нарядам.
Так завидовали ёлки
И топорщили иголки.

Возмущались сосны-сёстры:
«До чего же платья пёстры!
А сейчас они – скелеты,
И за что они воспеты?»

Только лиственных манеры
Хвойным могут быть примером.
Говорят, листы роняя:
«Это мода, мол, такая!»

*Родному селу
Моряковский Затон посвящается*

Мою родную Моряковку
От слова гордого «Моряк»
Пренебрежительно «Морковкой»
Назвал какой-то из писак.

«Моряк» – когда-то это имя
Носил известный пароход.
В местах глухих и нелюдимых
Он был закован в стылый лёд.

Для речников да сноровистых
Полдела – сладить новый сруб
Из сосен, лиственниц смолистых.
К зиме уж дым валил из труб.

Как благодатна здесь природа!
Так начал жизнь свою Затон.
И в честь названья парохода
Был Моряковским наречён.

Война с колодцем слёз бездонным
И похоронок стуком в дверь
Не миновала и Затона...
Безмерна горечь тех потерь.

Но семя жизни не погибло
И сквозь разруху проросло!
Окрепло и высот достигло,
И приукрасилось село.

А в перестроечные дни-то
И выживало, и ползло...
Вновь были крылья перебиты.
Но всё ж не умерло село!

Не станем сетовать. Писака
Ошибся просто так, друзья.
Он второпях печатал знаки,
И потерялась буква «я».

Как, моряковцы, вы красивы
Со славой предков на челе!
Так дай вам Боже больше силы
Счастливо жить в своём селе!

Дама в розовых очках

Хороша погода разная...
Я отныне дама праздная.
Выхожу, почистив пёрышки,
Греет ласковое солнышко...

И не психую, и не мчусь...
Прожить на пенсию учусь.

Жирный плюсик: график мой, –
Что ни день, то выходной.
Минус тоже начерчу...
Но об этом промолчу.

Плохие мысли? Ни одной!
От них у дамы вы-ход-ной.

Сквозь рябь дрожащих облаков...

Сквозь рябь дрожащих облаков
Луна сияла.
Воздушный свадебный покров –
Фата летала.
Неслышно искорки фаты
В лучах метались
И осторожно с высоты
Припускались.

Зима готовилась сойти
С небес невестой.
Для ложа прятала холсты
В укромном месте.
Должно быть выполнено в срок
Всё без заминки.
Последний штрих – к фате венок
Плели снежинки.

Я сочинял, такой чудак,
Стихи при этом.
Ты из маршрутки вышла так,
Как из кареты.
Явились рано мы на бал,
В сюжет вписались.
Никто нам «горько» не кричал,
А целовались!

Сигналил лунный жёлтый глаз –
Мол, осторожно!
Но перепутать «тормоз» – «газ»
Сегодня можно.
Смертельный яд уже попал,
Смешался с кровью.
Вино, что косит наповал,
Зовут любовью!

Вторжение

В небе мирном, в небе чистом
Вдруг десант парашютистов.
Парашютам несть числа –
Надо бить в колокола!
Люди, что это: захват
Территорий всех подряд
Начат с северо-востока
Вероломно и жестоко?

Оккупанты у порога.
Города, мосты, дороги, -
Всё захвачено. Пленён
Весь Сибирский регион.
Сколько их? «Своё возьмём
Не размером, так числом», -
Намекают нам при этом.
Не конец ли это света.

Что обещан в декабре,
А случился в октябре?
Нет, обычные дела –
К нам в Сибирь зима пришла.

Кот и пёс

Пёс прилепил холодный нос
К оконному стеклу.
Трещит на улице мороз,
И хочется к теплу.

Как растянулся б на ковре
И сладенько вздремнул!
Один он мёрзнет во дворе,
Несёт свой караул...

На подоконник мышедав
Не прыгнул, а взлетел!
Собачью морду увидав,
Струхнул-оторопел...

Пёс заскулил, мол, не робей,
И душу не трави...
Мяукни, братец, посильней,
Хозяйку позови!

Увидит грустные глаза,
Со мной поговорит.
Поймёт, что я хочу сказать,
И двери отворит.

Март

Весна кусает снега пласт,
Он с крыш ползет к ней прямо в пасть.
Зима рыдает – слёз поток!
Намок её сугроб-платок...

А Солнце выпучило фары
И обдаёт нещадно жаром.
«Ну, прочь с насиженного места, -
Весна Зиме, – вдвоём нам тесно!»
Осенний лист скребёт асфальт
Осенний лист скребёт асфальт...
Покинут, брошен...
В душе по прошлому печаль -
Когтями кошки...

Фальшиво льщу, что не грущу,
Что с оптимизмом...
Зачем ищу, зачем тащу
Все эти – измы?
Иль дань традиции отдать:
Бутылке водки?
Или заплакать, зарыдать
До хрипа в глотке:

«Плечо родное, где оно,
Где ты, спаситель?!»
Картина маслом и кино,
Что алчет зритель!

Судьба расставит по местам
Всё! Но без фальши
Тот звук скребущего листа...
И как жить дальше?

Плаванье по-собачьи

Нет терпению предела:
– Ты забыла!
 – Ты не сделал!
Крики – пыль до потолка,
Ругань – дуло у виска!

Знать обоим бы хотелось:
Есть предел у беспредела?
Мощность – сотни киловатт:
– Виновата!
 – Виноват!

Эх, прощай, любовь до гроба...
Битва – в проигрыше оба!
Аргументов шквал завис –
Назревает компромисс.

Было принято решение:
Обнулить все отношенья.
Всё простить, начать с нуля.
Двое снова у руля:

Капитаны ли, матросы...
Всё же есть к семье вопросы.
Долго ль плавать кораблю,
Коль всё сводится к нулю?

Кнопка

Сергею Корсакову

Ты помнишь, Серёжка, из школы с тобой
По парку ходили дорожкой одной.
Поставив портфели, однажды весной
Болтали беспечно под старой сосной.

И, чтобы запомнить из вёсен одну,
Мы кнопку на память воткнули в сосну.
Шутя, проверяли: а там ли она,
Хранится ли тайна, жива ли сосна?

С тех пор не одна отзвенела весна.
Теперь не до шуток – не те времена.
Но мимо иду, вспоминается мне:
Здесь детство прикнуто к старой сосне.

Юрий Канурин

НА СВАДЬБЕ

Моему отцу

I

На стук калитки из тёмной глубины двора выскочила с лаем собака.

Фёдор остановился, ожидая с интересом, что она предпримет, когда приблизится. – Неужели домой непустишь? – спросил он тихо, не выдержав. – Не признал?..

При звуке его голоса собака ошеломлённо вскинула морду, рванулась было вперёд, затем припала на лапы, заперебрав ими на месте и, повизгивая, на брюхе поползла к Фёдору. Визг её вскоре превратился в оглушающе-радостный лай.

– Ах ты, старина... Тише только, Босой! – попросил Фёдор, лаская пса и увёртываясь лицом от его мокрого холодного носа. – Переполошим всех в доме... Худющий же ты, однако! Не кормят тебя здесь, что ли?..

Лет десять тому назад, ещё учась в школе, Фёдор выпросил у охотника в соседнем селе щенка от лайки. Выбрал самого красивого – грудка и лапы у него были белыми... С тех пор Фёдор успел отслужить в армии и уехать к сестре в город. Но приезжая домой, он каждый раз ревностно осматривал собаку.

– Никак это ты, сынок? – прозвучал от крыльца глуховатый женский голос, и сердце Фёдора, столько раз за день менявшее свой настрой, дрогнуло. Те впечатления, которые ложились на его душу, наполняя её всё более волнующими переживаниями по мере того, как он приближался к дому, пропали куда-то разом, заслонившись одним этим мигом. И вся поездка – с вокзальной суматохой большого города, с утомительным времяпрепровождением в вагоне поезда и автобуса, которая представлялась ранее трудной и продолжительной, теперь показалась лишь стремительным спуском сюда к крыльцу, к стоявшей на нём матери, Анне Андреевне.

– Я слышу: собака дурит! – заговорила она скоро и возбуждённо, обнимая и целуя его. – Думаю, что её там разбирает? А потом разом: Федька приехал! Я ждать-пождать. Никого! Аж испугалась! Думала, обманулась... Ну что стоять тут? Пошли скорей в избу!

Она суетилась подле, помогая ему раздеться, не зная, куда усадить, как получше приветить. И как Фёдор не готовил себя к этой встрече, мысленно представляя её, однако сейчас, замечая увлажнённые глаза матери, слушая взволнованный голос, он вдруг почувствовал: начались странные и волнующие превращения его – до сих пор не выделяющегося из ряда обыкновенных людей – в какого-то особенного человека, в невесту кого важного и счастливого...

– Надо же, в таких мокроступах в мороз ехать! – ужаснулась она, глядя на его ботинки. – Ах, сынок ты мой милый! Снимай их сейчас же! – Она поспешно достала с печи валенки. – На-ка, грейся!.. Тыщу раз, небось, просила. Возьми их с собой! Ну не носи ты их там, в городе, а как ехать домой – обуи!

Она присела рядом, в ожидании, пока он переобуется, пристально и жадно его разглядывала.

– Господи! Какой же ты, Федька, худой! – воскликнула она, покачивая горестно головой. – А под глазами аж сине... Чтой-то ты сам на себя, сыночек, не похож. Устал за дорогу...

Она мягким материнским движением провела рукой по его волосам, что-то рассматривала в них, наклонившись ближе, поправила.

– А мы ещё вчера тебя поджидали, – заговорила она опять торопливо, словно боялась не успеть выговориться. – Отец баню истопил. После расстроились даже. Решили, что не приедешь... А я сон давеча видела. Будто бы клюкву на болоте брала. Да крупная, да спелая! И столько ж её на мху!... Вот так-то вот! Не зря, гляди-ко, на радость вышло!

В старенькой жакетке, в толстом шерстяном платке, насунувшимся на лоб, Анна Андреевна походила на пожилую женщину, почти старуху. Но вот она поддёрнула платок тыльной стороной ладони, и как смахнула этим машинальным движением морщинки – её лицо смотрелось счастливым, на щеках теплел румянец. И Фёдор с удивленной радостью отметил, что мать выглядит ещё молодо, и что она по-своему красива.

– А где отец? – спросил он, желая увидеть их вместе. – Не слышно что-то его!

– Так, ведь, он на свадьбе у Щёлоковых! – ответила Анна Андреевна. – Если бы чуть-чуть попозже пришёл, и меня не застал бы. Во были б дела!.. Ты разве не получал нашего письма?

– Получил. Но я почему-то думал, что свадьба завтра.

– Нет, сегодня. Поди уж в пятом часу машины загудели... А отец недавно пошёл.

– Вас Семён приглашал на свадьбу?

– Нет, сама Настя... После Матвей ещё заехал. Только шибко выпивший был. Все буровил тут – родня ему новая понравилась... Семён из Сосновки девку взял за себя. Матюхиных Лидку. Может помнишь по школе?... Что это я тебя сегодня одними разговорами потчую? – спохватилась она, смеясь. – Ты тут грейся пока...

– Давай, я что-нибудь тебе помогу, – предложил Фёдор.

– Дитёнок ты мой миленький! Ну какие там у меня дела? Я сейчас, мигом...

После её ухода тишина в доме затяготила Фёдора. Мягко ступая валенками по половикам, он прошёлся по прихожей, заглянул в кухню. Большую часть её занимала печь. У стены стояла узкая железная кровать. Тут обычно любил отдыхать Степан Прокопьевич, отец Фёдора. В углу за печью помещался столик, над которым висел самодельный шкаф для посуды. В кухне пахло распаренной картошкой... Фёдор прошёл в комнату и зажёл свет. И тут знакомые с детства предметы окружили его. В противоположных углах все также стояли кровати, застеленные нарядными покрывалами. Поверх в три яруса располагались подушки в вышитых наволочках. Над кроватями краснели коврики. У дальней кровати громоздился шифоньер – вверху на его дверцах в рамках под стеклом помещались семейные фотографии. И остальное – комод с телевизором против двери, круглый стол в углу, большой фикус с поблескивающими зелёным гляncем листьями – всё стояло на прежних местах, отведённых для них давным-давно.

«Как и не уезжал никуда!» – подумал Фёдор, оглядывая комнату.

У печи, одна из сторон которой выходила в комнату, стоял табурет. Фёдор сел,

прижавшись спиной к горячим кирпичам. Сбоку из открытой духовки приятно веяло теплом...

В этот раз Фёдор не собирался домой, даже когда получил от Щёлоковых приглашение на свадьбу. Он не дружил с Семёном, тот был из другого, младшего поколения. Весной только вернулся из армии, и вот сразу же решил жениться. Любопытно было посмотреть на него. Но добираться сюда только по железной дороге более полусуток, а потом ещё на автобусе сорок километров. Однако при мысли о доме постепенно что-то нахлынуло на Фёдора, потянуло сюда, и так нестерпимо захотелось побыть среди близких людей. В автохозяйстве, где он работал трактористом, взял два дня отгулов. На большее непустили. Но вместе с выходными на поездку их вполне хватало... И ещё надеялся встретить тут Александру Вайчук, свою первую юношескую любовь. С Щёлоковыми те были большая родня, так что на свадьбу она должна бы приехать. С Александрой он вырос в этой деревне, учился в одном классе. Их детская привязанность друг к другу давно переросла в дружбу, и даже, как думалось тогда Фёдору, в нечто большее. Шурка, как её все звали (а она не любила, чтобы так называли), была самой красивой девушкой в селе. После окончания восьми классов Фёдор вместе с другом Анатолием Назаровым поступили на курсы механизаторов, а она заканчивала среднюю школу. После окончания курсов они работали в совхозе. С первого заработка (ещё помогли родители) Фёдор купил у знакомого шофера старый мотоцикл «Иж–Планета». Кстати, он подгадал в то последнее лето перед армией. Сколько незабываемых впечатлений привнёс в его жизнь. Особенно памятен один вечер... Они неслись на мотоцикле по просёлочной дороге. Александра держалась за Фёдора, обхватив сзади руками и ногами. Девичьи груди жгли спину сквозь тонкую рубашку. Поток встречного воздуха, напоённый ароматами цветущих лугов и полей, пьянил, и хотелось мчаться на мотоцикле сколь угодно долго. Наверное, то же чувствует птица, скользящая на бреющем полёте над полем с наливающимися колосьями и цветущими сорняками... Они остановились полюбоваться на закат. Это было самое высокое место в округе. В селе уже будет ночь, а тут ещё виден край солнца, красного от натуги после трудового дня. На поле среди овса Александра заметила цветущие васильки. Она сплела из них два венка. Для себя вплела ещё три ромашки. И стала походить в нем на прекрасную лесную фею. Фёдор не удержался и обнял девушку, с удивлением отмечая, как послушно и податливо стало её сильное тело. А вкус её губ остался незабываем на всю жизнь... Александра уехала потом в областной центр поступать в пединститут. Вступительные экзамены сдала успешно. Осенью они встретились лишь однажды, и то мельком, ни о чём толком не успели поговорить. Она и адреса нового ещё не знала, обещала написать. Её письма он не дождался ни тут, в селе, ни потом, в армии. Зато написал Анатолий. В армию его не забрали вроде бы из-за того, что отец его инвалид, а у них в семье был ещё маленький ребенок. И Анатолий засобиравшись к родному дядьке в Забайкалье, где надеялся немного подзаработать, ещё он писал: что где-то на ноябрьские праздники приезжала в деревню Шурка с парнем. Сам он его не видел, но говорили: симпатичный, образованный и, на удивление всех, совершенно не пил самогонки... Всё это Фёдор воспринял отрешенно, почти не переживая, словно заранее предполагал такое. Только в первый момент несколько удивился быстротечности нового Шуркиного знакомства... Так и не пришлось им больше встретиться: когда он приезжал в деревню, её там не было, и наоборот. Да он и не стремился увидеть её... Где-то с год назад Анна Андреевна написала ему среди прочего, что встретила случайно в магазине Александру и даже не узнала сразу – так она похудела, вдобавок курит и вообще – страшная стала. Прошёл слух, что муж её бросил якобы из-за того, что у неё не будет детей... В последнее время, не зная почему, Фёдор часто вспоминал Александру. Манила надежда, что стоит им встретиться, поговорить, и всё

разрешилось бы само собой...

Почувствовав, что может задремать, пригревшись, Фёдор встал.

«А где моя гармошка? – подумал он, взглянув на стол, где та обычно стояла, покрытая узорной салфеткой. – Надо хоть в руках её подержать».

Но гармони на столе не было. Он заглянул под одну кровать, под другую...

– Ты чего там ищешь? – поинтересовалась Анна Андреевна, входя в дом и увидев, как он заглядывал под кровати.

– Да гармошку свою! Не знаешь, где она?

– Знаю, как не знать: на свадьбу унесли! А ты что, поиграть захотел? Сейчас наиграешься – покажись только там!.. Иди, молока парного попей!

Она процедила молоко в трёхлитровую банку и пододвинула её Фёдору. Уйдя на кухню, вскоре принесла полную до краёв тарелку борща.

– Вот тебе ещё. Сейчас хлеба нарежу, сметаны принесу!.. Соскучился, поди, по моим борщам? Там, в своих столовках да ресторанах, таких не попробуешь... Ничего! За недельку ты у меня посвежеешь!

– Ну, мам, какая там неделя! Дня три от силы: дорога вон какая!

– Никто не говорит, что ближний свет! – заметила Анна Андреевна. – Вот и побудь, раз уж тут! А то совсем отбились от дома. Верка тоже глаз не кажет. Как хоть они там, живы-здоровы?

– Да нормально всё! – ответил Фёдор. – Вчера с Максимкой меня провожала... Ох, разнюнился он! Так ему сюда хотелось!

– А чего ж не взял?

– Заморозить?... А потом назад тащи. Не оставишь же тут... За лето ещё надоест!

– Жалко!.. А у тебя с отпуском как нынче?

– К сенокосу думаю подгадать... Чуть не забыл! Сестра подарки прислала.

Несмотря на уговоры матери вначале поест, Фёдор подтащил к столу свою сумку и начал доставать из неё свертки. Тут были мешочки с яблоками и конфетами, две палки копчёной колбасы, три килограммовых пачки сырых дрожжей, комплект постельного белья, запчасти для бензопилы.

– А это я тебе ко дню рождения купил, – сказал Фёдор, доставая большой полиэтиленовый пакет с ярко-красной шерстяной кофтой с подкладными плечами. – Долго выбирал... Примерь! А то, боюсь, не подойдёт. Пятьдесят второй размер...

Анна Андреевна некоторое время растерянно рассматривала кофту через пленку, ощупывая её прямо в пакете, и, только когда Фёдор снова попросил, примерила.

– Так она ж для молодых! – произнесла она неуверенно, оглядывая себя в круглом настенном зеркале. – Яркая чересчур!.. Дорогая, поди? Я тебе деньги верну.

– Ну ты, мам, даёшь! – обиделся Фёдор. – Я же сказал: подарок!

– Ладно, сыночек, спасибочки!.. По мне, гляди-ка ты! А я ведь всегда пятидесятый брала.

Она сняла кофту, бережно уложила обратно в пакет, прикидывая, куда бы спрятать.

– А если я в ней на свадьбу пойду? – произнесла она тут же. – А что, в обновке покажусь, похвастаюсь – сын подарил. Бабы сразу заметят... Ты ещё чего-нибудь перехвати, и пойдём. Али как? Может за отцом сбегать?..

– Зачем его дёргать? – сказал Фёдор. – Пойдём... Он всё на пилораме в лесхозе работает?

– Ну, а где ещё? Настраивает её, пилы точит. Поломалось у них там что-то. Какие-то анкерные болты сорвало... Ворчит!..

– Анкерные! – поправил Фёдор. – Есть больше не буду!..

Видя, что мать начала убирать со стола, попросил:

– Оставь хлеб, я Босому вынесу. Какой-то он худой!

– Ну прямо, истощала твоя собака! – усмехнулась Анна Андреевна. – Я ей сегодня чуть ли не полбулки выкинула. Молока ещё налила... Голодный – так пусть вон картошку вместе с поросёнком ест!

– Я завтра, нет, скорее всего, послезавтра на охоту хочу сходить, – сказал Фёдор, переобуваясь из валенок в ботинки. – Как тут нынче с зайцами?

– Спросил тоже кого! – ответила Анна Андреевна, гремя посудой на кухне. – Кто их знает? Слышала разговор, что дед Рябок, вроде, ловит их петлями... Этот дед отчебучил номер. И смех, и грех прямо!.. Подженился он на молодой! Хотя, правда, какая она там молодая! В годах уже женщина. Но годков так на семнадцать, поди, помоложе его была...

– погоди, мам! – перебил её Фёдор. – Он же, вроде, бабку из Медведки привозил.

– Ну, это когда было! – протянула Анна Андреевна. – Он тут много бабок перевозил. Мы их тут всех Рябчихами звали, как и его покойницу Арину... Только привезёт, и вскорости обратно увезёт. Чем они ему не подходили? Прямо ума не приложу! Бабки как бабки! Ну жужжат себе помаленьку, и ладно!.. А это уже вот, под осень. Смотрим, дед гоголем по деревне заходил. Нашёл, значит, жену себе. Мужикам в конторе хвастанул: «Она меня ручкой за шею обнимает и целует крепко-крепко». К чему такие слова старому человеку говорить? Тыфу ты!.. Вот как молодые женихаются – навроде, так и надо. А как старики – глаза бы на них не глядели... И вот совсем недавно, к чему я речь-то веду, поехал Рябок к брату. Ну и загостился там. А эта, его любезная, возьми и продай телёнка, машину стиральную. Вещички, что были получше, прибрала – да и будь такова! Так-то вот!.. И остался старик ни при чём!

– Ну, а вы-то что смотрели? – заметил недовольно Фёдор. – Поди, свои деревенские и покупали?.. Надо ж было как-то вмешаться!

– Скажешь тоже! – рассердилась даже Анна Андреевна. – Тут его племянники пооткоснулись от него. Ишь каков! Оно хоть и жалко старика, но поделом... На ёлку лезть и брюха не ободрать. Такого не бывало!.. Нашла тоже какую новость тебе сказать!.. Ну, так идём, что ли?

– Идём. Вот только приведу себя немного в порядок.

Он расправил смятые валенками штанины, затем почистил щеткой пиджак, куртку – и делал всё это тщательно и неторопливо. Мать, уже одетая, стала помогать ему, смачивая ладонь под рукомойником в углу прихожей.

– Смотри, уташат тебя сороки такого чистого, – заметила она, смеясь, – и на свадьбе не погуляешь.

– Не уташат! – ответил Фёдор и подмигнул. – Не дадимся!..

Он достал из сумки картонную коробку и, заметив вопросительный взгляд матери, пояснил: – Семёну электронные часы в подарок купил!

– Не надо! – заявила решительно она. – Я им отрез штапеля на платье отнесла. Голубцов ещё целую кастрюлю наготовила... Хватит!

– Ну это вы!.. А я так не могу на свадьбу прийти!

Прежде чем выйти из дома, он собрал для собаки весь нарезанный хлеб и кости из борща с остатками мяса.

II

Семен в чёрном костюме и Лида в белоснежной фате сидели за центральным столом лицом к двери. Пятирожковая люстра сияла почти над их головой. Высветленные на фоне известковой стены, они смотрелись очень нарядными...

Рядом с женихом сидел Геннадий, его двоюродный брат, приехавший с отцом из районного центра, а около Лиды – её подруга Светлана из техникума, где они учились вместе. Когда Геннадию, высокому чернявому парню, и Светлане, изящной русоволосой девушке, в тёмно-зелёном элегантном платье, приходилось вставать из-за стола, чтобы произнести полагающиеся к данному событию речи, гости с восхищением любовались этой очаровательной парой, будто сошедшей сюда на деревенскую свадьбу с экрана телевизора. Но потом переводили взгляд на жениха и невесту. Те смотрелись несколько поприместнее и кряжистее, особенно Семён – широкоплечий, с крупными кистями рук. Он пошёл в материнскую породу, где все мужчины – сильные и работающие. Впрочем, как и женщины...

В селе не гуляли свадеб года два, не меньше. Молодежь уезжала в город, и там устраивала личную жизнь... Семён после армии никуда не поехал – отцовский дом не казался тесен. Стал работать шофером у предпринимателя в лесхозе. Дела шли неплохо. За лето отремонтировал старый дом. Подвел под него бетонный фундамент, прогрунтовал его битумной шпатлёвкой. Стены обшил вагонкой, проолифил. Почерневшую шиферную кровлю заменил тёмно-синей металлической. Затеяливо расцветил наличники. Перестроил веранду. Затем перепланировал ограду. Со двора убрал лишние постройки... И засмотрелся дом, который и раньше не казался убогим. «Стал похож не как сын на отца, – сказал кто-то из сельчан, – а скорее, как внук на деда!». Никогда в селе ещё не было такого красивого дома. Портила впечатление свалка техники у ограды. Тут стояли плуг с бороной, распашник, картофелекопалка, сенокосилки, грабли, трактор «Беларусь» с большой тележкой... Проявив хозяйскую хватку, Семён часть выкупил за бесценок в совхозе, а кое-что нашёл выброшенное на пустыре у старых мастерских... Для трактора Семён собирался построить гараж, а для остальной техники – навес. Но пока не дошли до этого руки... С Лидой он когда-то учился в одном классе. Наверное, они уже тогда симпатизировали друг другу, потому что после его возвращения из армии сразу задружили. И вскоре решили пожениться... Родители Семёну советовали: «Погуляй немного! Осмотрись! Молодой ещё!..» Не послушался. Лида заканчивала экономический техникум. И её будущая профессия прекрасно вписывалась в планы Семёна. Он хотел многого. Если выращивать картофель, то гектара полтора – два. Если разводить пасеку, то на двести – триста пчелосемей. Держать коров, так целое стадо... При этом он рассчитывал прежде всего на себя, а теперь ещё вот на молодую жену – своего бухгалтера, экономиста или хотя бы продавца... И благодарны были Семёну сельчане за то, что дал им возможность окунуться в атмосферу свадебного гуляния, почувствовать, что они не чужие в этом роевом кипении. И что ещё не совсем забыты традиции села, когда каждый – званный и незванный – мог прийти на свадьбу, чтобы своими глазами посмотреть на молодую пару... В этот вечер Щёлоковы были в центре внимания. Если другие дома казались притихшими, полутёмными, то здесь ярко светились все окна. В некоторой близости от дома слышались внутри топот, рыкание гармошки, отдельные неразборчивые возгласы...

Вместе со Степаном Прокопьевичем сидели Василий Назаров, а с другой стороны стола – Николай Глотов, Яков Воробьёв. Фёдор знал их с детства – односельчане...

Назаров когда-то был знатным механизатором. Придумал улучшить какой-то узел в комбайне. Получил даже небольшую премию. А комбайны стали выпускаться с учётом его изобретения... Глотов вернулся из армии старшим сержантом в зелёной фуражке. Как-то в конце лета пронёсся слух, что Николай, услышав выстрелы на пруду, отобрал ружьё у парней. Слово браконьер знали все. Но впервые для сельчан оно наполнилось тогда неприятным смыслом. Это из-за Николая Фёдор выбрал в военкомате пограничные войска. Зелёная фуражка и по сей день хранится у него дома...

Яков работал в совхозе кузнецом. Лицо и руки у него были смуглыми – прокоп-

тился у горна. Когда-то в клубе установили бильярд. Яков редко заходил туда, разве только в какой-нибудь праздник. Сейчас не помнится, по какому случаю он там оказался. Зато не забылось, как ловко он тогда обыграл в бильярд всех завсегдатаев. Удары по шарам на удивление были сильными и точными. И не верилось, что он в первый раз взял в руки кий. Наверное, в прошлой жизни был классным игроком, поэтому мастерство быстро и вспомнилось. Но, скорее всего, сказались выверенный глаз и сильная рука кузнеца...

Увидев сына, Степан Прокопьевич обрадовался чрезвычайно и, усадив его рядом, долго тормозил за плечи. Вокруг было шумно. Большая часть гостей уже повывезла из-за столов. На свободном пятачке против входной двери, раздвинув вдобавок столы, женщины плясали под гармонь.... Как же без неё, голубушки, на деревенской свадьбе! Баян – слишком академичный, оркестровый. А она – своя, простая, народная. Редко, правда, играет. Застаивается воздух в её мехах. И оттого она порой шепелявит, даже фальшивит. Но ничего, продышится и начинает звуками чистых тонов хватать за душу... На круге выделялись приезжие женщины, родня невесты. Плясали весело, раскованно, выкаблучиваясь друг перед другом. Показывая всем своим видом, что невеста у них не какой-нибудь там залежалый товар, который и сбавить-то можно было с трудом, а такая красавица, что, вполне вероятно, и жених ей не чета. Обычная история!.. Ничего такого в миловидной, пухленькой невесте Фёдор не нашёл. Разве только, что среди малознакомых людей она держалась свободно и непринужденно. Смеялась задорно шуткам, показывая плотные ряды красивых зубов, и смех её был живым и приятным... Среди пляшущих выделялась женщина в ярко- желтом платье с красными вычурными цветами по всему его полю. Иногда она применяла приём, который буквально шокировал окружающих – начинала трясти всем телом. Особенно заманчиво колыхались её большие груди, и это зрелищное самовыражение приводило в восторг мужчин.

– Что вытворяет девка? – сказал с восхищением Василий. На его длинном лошадином лице, заросшем седой щетиной, удивительно чистыми смотрелись голубые глаза. Сейчас они сверкали. Он был весь на круге, вместе с пляшущими... Когда-то он неловко спрыгнул с комбайна, и у него что-то хрустнуло в колене. Раньше хромота была малозаметна. Теперь он без тросточки не мог обойтись... И вот этой тросточкой он время от времени в азарте тарабанил в пол.

– Это сестра невесты! – пояснил он Фёдору. – Работала дояркой в совхозе, а сейчас открыла магазин в деревне... Когда я был пацаном, у нас на вечерках так плясала тетка Артюшиха. Также всё тело ходуном ходило!.. Ну что, молодёжь, так сидите? – спросил он громко, покрывая шум, у жениха и невесты, которые сидели неподалеку со своей свитой, наблюдая с интересом за происходящим. – Давайте выпьем за то, чтобы у вас, ребятки, всё было по-путнему! Как у людей!..

Его охотно поддержали другие гости, отыскивая на столе свои стаканы и наполняя их отменным самогоном.

– А тебе, Семён, не надо больше пить! – сказала вдруг Лида, накрывая его рюмку ладонью. – Вполне хватит на сегодня!

– Сильна девка! – закрутил головой от изумления Василий. – Замуж не успела выйти, а уже командует!.. Вот так всегда норовят нашего брата поприжать... Не поддавайся, Семён! Гни свою линию, и отступного не давай!

– Я вот столько выпью! – сказал Семён, отмечая пальцем на рюмке, и выпил, сколько показал.

– Сам-то не надумал жениться? – спросил Василий у Фёдора спустя какое-то время. – Может, какая уже приголубила, городская? И размяк, как на припёке!.. Эх, жениться не проблема! Сегодня они свадьбу гуляют, а завтра сидят, курят: где жить?

– Нет еще! Если что, я тебя обязательно приглашу на свадьбу! – ответил Фёдор, смеясь. – Только зачем мне городские, дядя Вася? Если свои, деревенские, есть!..

Он показал глазами на невестиных подружек.

– Правильно, невесту надо брать из знакомых! – сказал Василий, и по его невозмутимому виду трудно было понять: шутит он или говорит серьезно. – А то попадешь на такую, что только и умеет делать из маленьких глаз большие чёрным карандашом... Так, какую выбираем? Поди, вот эту, глазастенькую?

Когда Фёдор пришел на свадьбу, Настя, хозяйка дома, крупная дородная женщина, ласково сказала: – Спасибо, что послушался и приехал!.. Пойдем, я тебя усажу рядом с такой куколкой! Анюточкой зовут, как и твою маму!..

Анюта, девушка лет семнадцати, ярко раскрашенная блондинка, разбурявшаяся от бокала шампанского или чего-нибудь покрепче, на самом деле походила на красивую куклу. Она премило улыбнулась, услышав слова Насти, и оценивающе взглянула на Фёдора, всем своим видом показывая, что, может быть, он и не пентюх вовсе, но всё равно ей не пара. Фёдор с усмешкой про себя решил, что будет называть её Нюрой... Именно эту Нюру и выбрал для него Василий.

– Ишь вы какие! – засмеялась Лида, которая заинтересованно прислушивалась к их разговору, обладая, видимо, тонким слухом. – Для Анюты и помоложе найдется!.. А он для нее уже старый!

– Какой же он старый? – изумились Василий и вместе с ним Степан Прокопьевич. – Погодите, девчата! Давайте разобраться!

Смеясь и никого не слушая, девушки следом за невестой начали выбираться из-за стола... Степан Прокопьевич кричал им вслед, пытаясь остановить. А Василий улыбался довольный, что удалось их взбодоражить...

Помолчав немного после их ухода, Фёдор хотел расспросить Василия о своем друге Анатолии, его старшем сыне, о котором давно ничего не слышал. И тут Фёдора сильно толкнули в спину так, что он едва не ударился грудью о край стола. Резко обернувшись, он увидел Надежду Родикову, маленькую бойкую женщину. Когда-то весьма прехорошенькую. Намёки приезжих женщин насчёт жениха не остались незамеченными. Надо было принимать ответные меры. Чувствовалось по ней, что у гостеприимства тоже есть пределы... Фёдор знал – стоит её чуть задеть, и забушует пламя! И не надо очень стараться! Она ещё поднимет гвалт. Устроит маскарад с переодеванием, подговорит других женщин. А то начнет продавать вещи гостей им же, сдавая выручку в кассу новобрачных... Похоже, она уже поймала кураж! Теперь никому не удастся ни перекричать её, ни переплясать!

– Федечка, миленький! – звонко закричала она над самым его ухом, оглушая и всё время толкая в спину. – Давеча, как увидела тебя, обрадовалась! Думаю, хоть напляшемся вволю!.. Что ты прямо как замороженный!.. Сыграй нам свою «Подгорную»!..

– Тётя Надя, играет же человек. И вполне прилично!.. Вот закончит... О чём речь!..

– Ага, дождёшься! – воскликнула Надежда, притопывая на месте от нетерпения. – Этот Сосновский частит больно. Позабил прямо всех... Ладно, сейчас я его спроважу!..

Гармонист был солидный, крупного телосложения мужчина. Он сидел на табурете, как-то скособочась. И табурет под ним казался низеньким, и в его руках гармонь выглядела игрушечной. Но звучала громко. Он растягивал ребристый мех на всю длину и сжимал назад с такой силой, что тот изгибался дугой. Вот так обычно и рвали гармони. К счастью для Фёдора, это была не его тульская гармонь, с приятным, как у серебристых колокольчиков, звучанием. А чья-то чужая. Но свою он пока не видел... Мужчина отвернул лицо в сторону от пляшущих, уставился куда-то в пространство невидящим взором. Словно ему было безразлично происходящее на круге.

Но это такая манера у него. На самом деле он весь превратился в слух, чутко следил за темпом плясовой, подлаживал его под перестук каблуков, под припевки. И при этом испытывал огромное удовольствие, сопереживая с пляшущими... И уносился порой на волнах этой простой музыки, обладающей всё равно волшебными свойствами, в молодые годы. Где он был могучим парнем, кровь бурлила в жилах, и девки табуном вились вокруг лучшего на всю округу гармониста, и многие прочили себя ему в невесты... Тогда он работал киномехаником. Вначале на передвижной установке, а потом на стационаре в главном клубе совхоза. И был нужен людям, его уважали. И он гордился этим! Это были лучшие годы в его жизни... А сейчас?.. Впрочем, у него всё хорошо, всё нормально! Удачно устроился на работу сторожем, дворником, а иногда и грузчиком в магазин к этой вот плясунье в жёлтом...

Надежда подскочила к нему и резко сдвинула меха. Гармонь жалобно пискнула. У мужчины мотнулась голова. Ничего не понимая, он ошалело посмотрел на женщину, выплюнул потухшую папиросу и нахмурился, сдвинув брови. Отчего лицо приняло злое выражение.

– А, чтоб тебя!.. – чертыхнулся он сквозь зубы, несколько озадаченный. – Ну, чего надо?..

– Хватит, отдохни малость! – сказала Надежда, ничуть не смущаясь, дерзко и бесстрашно глядя на него. – Пусть наш поиграет!..

И всё! Разом закатилась его звезда! Но, как оказалось потом, ещё не насовсем...

Гармонь Фёдора нашлась быстро. Она стояла в соседней комнате. Накинув ремень на плечо, Фёдор оглядел людей и вдруг испытал робость – получится ли, давно не брал инструмента в руки. Попробовав тихо звучание гармони, почувствовал, как свободно легли пальцы на клавиши, как ловко она устроилась на коленях. Так и подмывало сразу заиграть в быстром темпе. Но нельзя было этого делать. Конечно, откликнулись бы люди и вышли на круг. И посбили бы, суетясь, дыхание. В духоте дома не надолго хватит танцора. Фёдор начал степенно и размеренно. Первые аккорды брал медленно и ровно. Чтобы услышали все и, прочувствовав, смогли настроиться – кто по-торжественному, а кто с нарочитой церемонностью. Всё происходило на глазах друг у друга, в тесном пространстве дома. Люди слышали знакомый мотив, умели плясать – вот и всё, что и требовалось пока.

– Ко мне Фёдор приходил,

Пять овчинок приносил.

А я, дура, не дала!..

Кака бы шубочка была!

Мотив плясовой подхватил высокий Надеждин голос, помогая настроить его и укрепить. Тут же без перерыва другая женщина вставила свою припевку, потом прозвучали ещё, ещё. И понемногу началось! Завертелись на месте люди – с вскрикиванием, с задорным уханьем, под разудалые частушки. И загудели доски пола, отзываясь на стук каблуков... А гармонь уже не деликатничала, исходила ладными переборами, подзадоривая пляшущих и привлекая других, до сих пор внимавших безучастно. Она выговаривала мотив то низким голосом, то вдруг пронзительно и дурашливо вскрикивала. Порой в топоте ног и голосах припевок она заглохла как безымянный ручеёк, бормочущий наивную простую мелодию, затихал, впитываясь благодатной землёй, но потом опять становилась слышной, объединяя пляшущих...

За одним из столов сидел Емельян Митрофанович, дед Семёна, маленький сухонький старичок. Белая его борода была коротко подстрижена. По случаю свадьбы внука он надел старый костюм со всеми своими орденами и медалями. Емельян Митрофанович хмуро смотрел под ноги пляшущих. Каждый стук в пол болью отзывался в его сердце. В подполе зимовали ульи с пчелами. Громкий шум мог их побеспокоить.

Так и случилось! Две непоседливые пчелы, топот ног которым показался весенним громом, а пробивающийся кое-где в щели пола яркий свет – солнечными лучами, уже вылетели оттуда. И теперь кружили вокруг люстры. За ними обязательно прилетят ещё. Старому пасечнику было горько сознавать, что эти труженицы теперь погибнут зря. Назад в улей они дороги не найдут.

«Матвея надо позвать! – подумал он, отыскивая его взглядом среди гостей. – Пусть тише топают!.. Или хотя бы половики под ноги постелят».

Матвей сидел у противоположной стены на лавке. Почти полдня он провёл со сватами, всячески обихаживая их. Потом кто-то из родни отвёз тех домой. Сватье нездоровилось... И сейчас он фактически в первый раз внимательно разглядывал сына и невестку – таких красивых и нарядных.

– Ребятки вы мои драгоценные! – умиленно шептал он, и в его глазах стояли слёзы. – Голубочка два моих! Уже копошатся друг подле друга!..

Если бы он был восковой фигурой, то уже таял бы от нежности к ним... Встретившись случайно взглядом с отцом, Семён поморщился, как от только что съеденного лимона, и поспешно отвел глаза в сторону... Раньше Матвей работал ветеринаром в совхозе, в котором было несколько отделений, где разводился крупнорогатый скот. Теперь осталось только частное подворье. Матвей хорошо знал свое дело, любил его, и рука у него была лёгкая. Он не отходил от больного животного, пока не начинали наблюдаться улучшения или ... Ну, чтобы мясо не пропало! Его мнение было решающим. Люди знали Матвея, ценили, а за услуги рассчитывались в основном спиртным. Часто он возвращался домой, по словам Насти, «чуть тепленький»... Матвей прикинул: с кем бы поделиться впечатлениями. Из хорошо знакомых неподалёку сидел Василий. Тот был весь в пляске. Глаза сверкали, подбородок подался вперёд – нестерпёж было сидеть на месте.

– Давай! Давай! – кричал он кому-то, притопывая ногами и стуча тросточкой в пол. – А то я сейчас выйду!..

Матвей подо двинулся к нему и толкнул несколько раз в бок.

– Ты только полюбуйся на них, Вася! – сказал он дрогнувшим голосом. – Сидят как на портрете!.. Да посмотри же!.. Какая замечательная пара! Под стать один другому!..

– Где сидят? – спросил Василий, оборачиваясь. – А!.. Это, можно без преувеличения сказать, редкая пара!..

– Верно: редкая! – вскричал Матвей, перебивая его. – Это ты, как топор в сук, влепил!.. Но всё-таки, погляжу я на Семёна – рановато он женится! Погулял бы годик-другой после армии. Как думаешь?

– Не помешало бы! – согласился Василий. – Но и беды шибко большой не вижу... Парень хваткий, работающий! И она тоже из многодетной семьи. К труду приучена! Должны хорошо зажить...

Если от восковой фигуры Матвея остался бы ещё хоть какой-нибудь огарочек, от слов Василия всё расплавилось бы окончательно. В бестелесной оболочке бурлила бы только любовь к сыну и винные пары – смесь чрезвычайно взрывоопасная.

– Дед вон, смотри, что-то машет тебе! – сказал Василий, выдёргивая Матвея из эйфории, в которую тот впал.

Матвей с видимой неохотой направился к Емельяну Митрофановичу. Вскоре он вернулся недовольный.

– Какие тут половики? – сказал он, сердясь на бестолковость деда. – Всё равно, ведь, ссуют... Пчёлы у нас в подполе. В другом углу дома... Дед трясётся над каждой... А, все не вылетят! – махнул он рукой. – Знаешь, дружище! Есть бутылка коньяка. Немного начата!.. Сейчас принесу!..

Обходя людей, он направился в кухню и только собрался туда войти, как его заметили пляшущие женщины. Они схватили его за фалды пиджака и, смеясь, вытащили на круг.

– Ах ты, старый пенёк! – закричали они. – Ну-ка попляши с нами! А то, может, и ноги у тебя не так, как надо, приделаны... Ничего, мы сейчас из тебя песочка натрясём! Чтоб не так скользко было!

– Это мы ещё поглядим! – захохотился Матвей. – Чтоб меня, заслуженного ветеринара, переплясать? Нет, шалите!..

Он даже не успел топнуть, а не только выкинуть какое-нибудь коленце, как неожиданно заиграла ещё одна гармошка. Экс-гармонист не утерпел, решил составить дуэт Фёдору. И так это неудачно вышло. Какофония звуков – ни такта, ни лада.

– Не в той тональности! – смущённо оправдывался незадачливый музыкант. – И ритмы немного не совпадают... Надо репетировать!

– Всё только испортил! – накинулись на него женщины. – Федька, зачинай по-новому! Какую-нибудь там «Польку-бабочку»!

– Однако какие неугомонные! – рассмеялся Фёдор, тряся в воздухе кистью руки. – У меня пальцы уже не слушаются с отвычки. А вам хоть бы что... Пусть сменит меня!

Фёдор поставил гармонь на лавку за Василием, подальше, чтобы кто-нибудь нечаянно не столкнул.

– А здорово играешь! – произнёс восхищенно тот, придерживая его за руку. – Даже самому захотелось научиться играть... Стоит мне выпить, сразу к гармошке тянет. А протрезвею завтра – всё забывается. Существенно играешь, ничего не скажешь!.. Верно я говорю, Прокопыч? – спросил он у подошедшего к ним Степана Прокопьевича.

– Верно! – согласился тот. – Разве ты скажешь что не так!.. Эх, ботало ты этакое! Тебя только послушать. Привирать ты мастак!..

– Я что! – ответил польщенный Василий. – У меня сейчас зубов мало, а сколько ещё слов в минуту могу сказать. А когда все зубы были, сто слов в минуту говорил. Как пулемёт! Мог запросто корреспондентом быть... Звали, да я, дурак, не пошёл!..

Фёдор курил на веранде – просторной и удобной. В разговоры других курильщиков не вникал, думал о своём... Придя к Щёлоковым, он с волнением и в то же время с любопытством отыскивал взглядом среди гостей Александру. Но так и не увидел. Даже подумал, что вышла куда-то и вскоре появится... Какая она стала? Сильно ли отличается от той прежней девушки – бойкой, смуглой красавицы, капризной, избалованной вниманием парней. Может, полиняла красота после всех испытаний, выпавших на её долю, и остались лишь одни амбиции... И вполне возможно, что всё придумал он, насочинял, и это важно только для него одного? А для неё он ничего не значит?... И сидит она у него давнишней занозой в сердце, и что-то с этим надо делать...

Но Александра так и не появилась. Фёдор извелся в ожидании, сидя как на иголках. Потом кто-то из гостей, словно специально для него, спросил у Семёна об Александре. Оказывается, она не приехала. У неё занятия в школе во вторую смену. Будет завтра. Приедет на утреннем автобусе... Фёдор приоткрыл дверь на крыльцо и сразу посвежело на веранде. Сквозь морозную дымку едва проступали крупные звёзды и молодой месяц. Во дворе стояла иномарка. Наносило сладковатый запах бензина. За воротами виднелись ещё легковушки гостей. Однако не они привлекли внимание Фёдора. Чуть в стороне от полосы света из окна, в которой подмигивал искорками снег, темнел силуэт трактора «Беларусь». Фёдор спрыгнул с крыльца и подошел ближе, сколько было возможно по очищенному от снега двору. Так и есть! Это был трактор,

на котором Фёдор когда-то работал в совхозе... И сразу вспомнился разговор отца с соседями по столу, когда Фёдор только подсел к ним...

– Два-три таких паренька, как Семён, и наше село загремит на весь район! – говорил Степан Прокопьевич, наклоня заговорщицки голову к собеседникам. – Дорогу, глядишь, поправят! Может даже и водопроводные колонки восстановят.

– Да, конечно! – согласился Николай Гловот и поцарапал ногтями плешь на затылке.

– Ага, догонят и ещё дадут! – желчно заметил Яков Воробьёв, и смуглое его лицо, казалось, ещё больше потемнело. – Семен будет от зари до зари работать и из батраков все жилы повытянет. Если найдет ещё таких дураков... А как только начнёт переступать через них, тут ему и... – он вставил краткое непечатное слово, означающее в настоящем быстротечное окончание какого-либо действия.

– Зерновыми и льном заниматься точно не будет! – выразил свое мнение и Василий, выбирая из блюда на столе кусок жареной курицы. – Слишком затратное это дело!..

– Да, конечно! – опять кратко констатировал Николай.

– Что ты заладил «конечно, да конечно»! – накинута на него Василий, взмахивая зажатым в руке бедром курицы как маленькой дубинкой. – Скажи сразу: ты за наших или за ваших?

Ответа он не дождался. Николай был вообще неразговорчивым мужиком. Пограничник, одним словом, хоть и ветеран. Ему важно, чтобы рубежи родины надёжно охранялись, а внутри сами разбирайтесь...

Фёдору тоже было всё равно – в их разговор не вступал. Но сейчас, увидев свой трактор в чужих, хоть и умелых руках, он вдруг испытал досаду, как человек, которого обошли другие, более дальновидные и предприимчивые... Однако возможность начать своё дело у Фёдора была. На их семью приходилось совхозной земли около десяти га. И технику достать не проблема. Дело в другом. Не одну ночь придется ворочаться с боку на бок, обдумывая, что выращивать, а главное – как выгодно реализовать свою продукцию. Фёдора вполне устраивала его нынешняя жизнь: спокойная работа, нормальная зарплата.

– Какая отличная мишень! – услышал он над собой молодой бодрый голос...

На крыльце стоял Геннадий и, сложив пальцы, целился в кого-то на улице. Фёдор обернулся. В полосе света на дороге сидел Босой. Он явно прислушивался к шуму в доме. «За нами пришёл!» – подумал Фёдор и хотел было заметить Геннадию, что не следует целиться в чужую собаку. Словно почувствовав неладное, пёс сдвинулся в тень и исчез.

– Знаешь, органически не переношу запахов кошек, псины и ещё парного молока! – доверительно сказал Геннадий. – Хорошо, что хоть аллергии на них нет...

В детстве он часто гостил у тетки летом. У Щёлоковых всегда были кошки и собаки. И парное молоко он пил тут за милую душу. «Надо же, как переменялся! – усмехнулся про себя Фёдор. – Маялся, выходит, терпел!».

Геннадий работал менеджером на пивзаводе в райцентре. В подарок он привёз кегу хорошего живого пива. Пока её поставили в подпол. Решили кран устанавливать завтра. На сегодня и так всего было предостаточно... Он не собирался на эту деревенскую свадьбу. Лида заинтриговала, сказав, что к ней придет подружка, в которую невозможно не влюбиться. Увидев Светлану, он не то чтобы разочаровался – девушка, несомненно, была хороша. Только по первому впечатлению она казалась несколько простоватой. Что как бы не соответствовало её внешности. Но чем-то она располагала к себе, привлекала внимание, притягивала взгляд. Гости, особенно мужчины, старались сказать что-нибудь весёлое и приятное невесте и её прелестной подружке, надеясь увидеть их белозубые улыбки. А если шутка оказывалась остроумной, то и

услышать искренний приятный смех девушек... Когда после очередного громкоголого: «Горько!» немного поутихли страсти, кому-то из гостей пришла мысль, которую тут же с удовольствием поддержало большинство присутствующих за столами, а не воспользоваться ли им своим правом и попросить свидетелей жениха и невесты поцеловаться. Уж очень было любопытно увидеть целующимися эту красивую пару. Геннадий охотно согласился, подошел к Светлане, но та наотрез отказалась это делать. Он тогда совсем не обиделся – он уже был очарован этой девушкой... Стоя на крыльце, Геннадий раздумывал, что лучше бы всего сейчас уехать со Светланой. Не место ей тут в обществе этой деревенщины. Во дворе стояла его «Хонда». Мчаться бы сейчас по трассе посреди зимнего безмолвия, освещая светом фар заснеженные поля, склоны холмов впереди, березовые околки. Из теплого салона и под тихо звучащую музыку рядом с такой девушкой невыразимо приятно было бы любоваться причудливой игрой света на гранях бриллиантов, щедро рассыпанных родительницей любви вдоль всей дороги... Хозяев двух легковушек за воротами он нашёл бы, и они выгнали бы их на дорогу. Но выезд перегораживала «Нива», её водитель поторопился, свернул небрежно к Щёлоковым, левое переднее колесо, потеряв твердую дорогу, «обрезалось» с неё, и машину затянуло в сугроб. Там её и оставили.

«Может оно и к лучшему! – подумал Геннадий. – Вряд ли Светлана согласилась бы уехать. Да и выпил изрядно... Но завтра до обеда отсюда свалим!»

Собеседники у Степана Прокопьевича были всё те же, когда Фёдор вернулся к столу.

– Этого Петруху вы хорошо знаете, – рассказывал что-то Василий. В руке он держал надкусанное бедро жареной курицы, то ли ещё прежнее, то ли выбрал новое. – Всё лето на пруду с удочкой сидит... А у меня хозяйство, два огорода – большой и маленький, покос, дрова. Кручусь!.. Как-то мылся в бане у Сашки Кривого вместе с Петрухой. Посмотрел, а он телом нисколько не хуже. И подумалось: «Зачем мне вся эта маята?»... Я тоже с удочкой хочу посидеть или по грибы сходить!.. Тебя женщины искали! – сказал он Фёдору, заметив его. – Видишь, Сосновский скисает!..

На первый взгляд гармонист, этот могучий мужчина, не создавал такого впечатления. Прервав игру, он вставил веселую реплику в разговор соседей. Выпил с ними ещё полстакана водки, не закусывая. И снова принялся играть. Тонкая усмешка не сходила с его лица, словно он собирался поразить окружающих своей игрой. Он в который раз начинал заход к «Цыганочке». Но как-то очень сложно, теряя иногда мелодию. Ему явно не хватало клавиш для полного выражения музыкального настроения. Одним словом, пьяная была гармошка... Лица женщин, внимавших ему, становились всё озадаченнее, а у некоторых даже сердитыми...

– Да, похоже на то! – согласился Фёдор. – Но бог с ним!.. Ты лучше расскажи, как там Анатолий поживает? Давненько не слышал о нём!..

– Что тебе хорошего рассказать? – промолвил грустно и как-то очень серьёзно Василий. – Пишет редко. Живет в небольшом городке под Читой у моего брательника. Взял за себя женщину с дитём. С него, баламута, станет растить чужого ребёнка! Но своего пока не нажил, может ещё разведется... Зовет к себе жить! Да я мертвым в городе лежать не хочу, а не то чтобы там жить!.. Знаешь, приходи ко мне завтра. Нет, лучше послезавтра! У меня коньяков нет, но выпить чего найдется... Покажешь Вовке что-нибудь на гармошке. Он у меня уже такой парняга вымахал! Школу заканчивает. Рубашки Толиковы и кожан мой всюю носит. Посмотришь – мужик, но иногда вдруг таким пацаном покажется...

– Эти все наговориться не могут! – услышали они над собой голос Надежды. – Федька! Ну ты, вроде, как и не здешний! Смотрю, нашего в тебе ничего не осталось. Ну, сколько тебя упрашивать, а? Поиграй же нам от души! Раз уж тут!..

– Хорошо, тетя Надя! – ответил Фёдор, тронутый её словами. – Извини! Теперь гармошку не выпущу из рук, пока сами не попросите!..

Он играл плясовые, старинные вальсы, популярные когда-то песни. Нового давно ничего не разучивал. Хорошо, что хоть старое не позабылось... Играя, он заметил, что пальцы, как никогда, чутки и подвижны, словно их постоянно тренировали. А слух как будто стал утонченнее – замечались такие нюансы в музыке, на которые раньше просто не обращалось внимания. Наверное, мастерство зрело в нем незаметно, подспудно где-то, чтобы проявиться вот сейчас в нужную минуту. И ещё какую нужную! Свадьба была в самом разгаре. А что это за свадьба, если на ней не повеселиться как следует. За столами осталось мало гостей. И то одни мужчины, в основном пожилые, которые посбились в небольшие группки и беседовали, соскучившись по общению. А женщины, как будто скинув десятки лет, поражали задором и неутомимостью. От всей атмосферы праздника, от звуков гармонии в их крови словно зажегся огонь, и сердца наполнились беспричинной девической веселостью...

В одну из пауз Димка Щёлоков, двоюродный брат Семёна, старшекласник, вынес в зал мощную магнитоу. И громко включил ритмичную музыку. Неприятно забухали низкие частоты. На Димку зашикали женщины, попросили убавить громкость. И заплясали тут же под эту музыку... Фёдор пригласил на танец Светлану. Он несколько раз ловил на себе её внимательный взгляд. Девушка не заглядывалась на него, только приглядывалась... Она училась в техникуме вместе с Лидой. Когда та пригласила на свадьбу, охотно согласилась – ни разу ещё не видела деревенской свадьбы. Сюда приехала, как в театр. Даже туфельки взяла, в то время как невеста была в сапогах, правда, дорогих и красивых. Светлане очень понравились деревенские люди. Такие доброжелательные, простодушные, открытые. Просто дети природы! Невеста, тоже дитя этой природы, приглядывала за подругой, не выпуская из виду, оставаясь надёжным её телохранителем...

Потом снова зазвучала гармонь. В этот раз и молодёжь не осталась в стороне. Началось со Светланы. Одна из женщин, явно из противности, желая оконфузить красивую горожанку, бесцеремонно вытолкнула её на круг. Но та не засмущалась общего внимания. Если разобраться, то она и не умела толком плясать, тем более под гармонь, которую вживую увидела и услышала впервые на свадьбе. Но грациозные и изящные движения девушки, в которых многое заимствовалось из современных танцев, всем понравились. И когда Светлана закрутилась на месте, постукивая каблучками туфелек в пол и взметывая стройными ножками подол платья, окружающие зрители расступились и освободили ей побольше места... Для жениха и невесты это, по сути, был свадебный танец. Лида несла себя величаво, плавно разводя руками, как бы с неохотой. А Семён пустился вокруг неё вприсядку, да так, что запотрескивали швы на его брюках. Поощрительные крики гостей воодушевляли, и он поплясал бы ещё. Но невеста потянула его за собой из круга... Наступила очередь Геннадия. На него смотрели выжидающе с улыбками. Ироничными – парень ухоженный, модно одетый, тонко пахнущий дорогим одеколоном, покажи-ка нам удаль молодецкую. Доброжелательными – знали с детства, поддержим, если что. Геннадий мельком взглянул на людей, и сразу всё это понял. Он покачал головой, усмехнулся. Вот не думал – не гадал, что придётся ещё на этой свадьбе плясать. Сложилось всё как-то разом – вызов, который нельзя не принять; хмель, ударивший в голову; и, конечно же, то, что неподалёку стояла Светлана. Лицо его посерьезнело, слегка побледнело – он принял решение. И вышел на свободное пространство меж людей. Фёдор заиграл медленное вступление. Все происходило как обычно: по мимике и жестам становилось ясно, как глубоко захватывает Геннадия мотив плясовой, и выказывалось им сожаление, что неловкими движениями вряд ли удастся в полной мере выразить все чувства. Он не топал, не бил ладонями по груди

и коленям, хотя все время ритмично двигался, взметывая руки и наклоняясь. Потом вдруг быстро зашагал на месте, в то время каким-то непонятным образом заскользил назад. Один оборот, другой. Пиджак оказался растянутым и словно самостоятельно сполз со сведенных за спину рук. Геннадий повесил его как бы на крючок в воздухе около Светланы. Та едва успела подхватить пиджак у самого пола. Тем временем Геннадий развязал галстук, растянул рубашку и также ловко выскользнул из неё... Интерес к нему возрос. Пиджак снят из-за духоты в доме – это понятно. Но рубашку-то зачем? Странно что-то!.. Если шутливо следовать его логике, то следующее он снимет майку, а затем брюки. И точно! Скомканная майка полетела над головами зрителей. её поймали, аккуратно сложили... С самого начала всем было ясно, что традиционной пляски они не увидят. Сейчас этому редко где учатся. Разве только в каких-нибудь ансамблях песни и пляски, и то больше с элементами балета. Но любопытно, как далеко продвинется этот молодой человек в проявлении самовыражения. Похоже – не близко!.. Его разглядывали с изумлением. Какой он загорелый! Какой мускулистый! Как хорошо сложен!.. На шее висел золотой крестик на золотой цепочке, матово поблескивающей на свету. Левое предплечье украшала татуировка цветка, похожего на гвоздику. Но взгляды все больше цеплялись за полоску незагорелой кожи над низко приспущенными на талии брюками... Играя бедрами, напрягая мышцы рук и груди, Геннадий растянул брючный ремень. Потом застегнул, словно в нерешительности. Вскоре он это повторил. Ироническая ухмылка не сходила с его губ... Все зачарованно следили за ним, отмечая каждое движение. Напряжение нарастало... Внимание не только удвоилось, даже утроилось. Это так необычно – стриптиз красивого молодого человека под виртуозное исполнение на гармошке «Подгорной».

«Неужели он снимет брюки?» – думал Фёдор, следя с тревогой за Геннадием. Почему-то было неловко на него смотреть. Хотелось куда-нибудь уйти. А тут ещё оказался невольным соучастником... Он посмотрел на людей. У женщин блестели глаза. Порой они стыдливо их закрывали. Но потом снова заинтересованно смотрели, боясь что-либо пропустить. Никому из них не приходило в голову выскочить на круг и поддержать Геннадия. Лучше посмотреть. Такого чуда здесь ещё не видели. Наступал кульминационный момент... У мужчин лица тоже выглядели удивленными, но глаза смотрели сурово. Наверное, если бы вместо Геннадия всё это проделывала какая-нибудь симпатичная девушка – реакция была бы прямо противоположной... Фёдор увидел смеющуюся от души Светлану и понял – Геннадий старается для неё. И перестал играть. Сделав машинально несколько телодвижений, Геннадий остановился и развел руки.

– Что же ты не играешь? – недоумённо спросил он. – Играй, раз взялся! Не надо огорчать меня! Могу, ведь, рассердиться!..

– Вот это да! – воскликнул изумлённо Фёдор. – Смотри, как бы я не рассердился!.. Все! Раздевайся под магнитола! Без меня!..

Быстро выбрав кассету, Димка Щёлоков включил магнитола. Однако, настроение Геннадия скомкалось. Собрав одежду, он удалился в маленькую комнату.

– Надо же, какой указчик выискался! – громко завозмущалась женщина в жёлтом платье, бывшая совхозная доярка, а теперь хозяйка магазина. Фёдор ей сразу не понравился, как только сменил их гармониста. После чего партия жениха стала брать верх, а рейтинг партии невесты заметно понизился. – Ну веселился мальчишечка! И не тебе, ведь, чета!..

– Горожанку не поделили! – проницательно заметила её подруга, тоже бывшая доярка, а теперь продавщица и поручительница хозяйки магазина в банке, где та взяла кредит на развитие своего бизнеса. Не то чтобы она верила в её безукоризненную честность, а куда денешься. – Плохо, что не досмотрели до конца! Дальше, наверное, было бы самое интересное!..

– Ну какой строгий! – не унималась женщина в жёлтом, не привыкшая уступать. – Жаль, что свадьба не в нашей деревне. Там бы тебе гонору поубавили!..

На веранде только и говорили о Геннадии. Как ловко у того всё получалось! Ведь где-то перенял!.. А брюки он не снял бы. Просто заводил народ. Сначала надо было ещё разуться. А под брюками, наверное, трико. Не эстетично всё смотрелось бы! Хотя опять-таки, кто его знает?..

По ярко-красной кофте Анну Андреевну было легко заметить среди гостей. Она и плясала, и несколько раз подходила к Степану Прокопьевичу и Фёдору. Сейчас, обнявшись со своей давнишней подругой Елизаветой Кривых, жизнерадостной толстушкой, они пели:

– Так зачем же, зачем в эту лунную ночь

Позволяла себя целовать?

Мужские голоса им вторили... К Фёдору, когда он вернулся за стол, подошёл Димка Щелоков, такой весь аккуратненький, чистенький, при галстук.

– Тебя зовут на чай! – сказал он, разглядывая что-то на столе. При разговоре он обычно смотрел мимо собеседника или даже сквозь него. Из-за чрезмерного высокомерия, надо полагать. – Потом к нам собираемся! Есть шампанское, хорошая водка!.. Тебя лично свидетельница приглашает. Похоже, она глаз на тебя положила...

И он неприятно осклабился. Захотелось дать ему по шее за такую фамильярность. Но Фёдор сдержался и удивился своей сдержанности... Светлана разрешила торт и рассказывала что-то девушкам. Они внимательно её слушали, особенно Анюта, которая уперлась в щеку кулачком, отчего та потом была румянее другой... Словно почувствовав, что о ней говорят, Светлана подняла голову и посмотрела на Фёдора так откровенно, как на очень близкого и дорогого ей человека. Фёдор даже смутился... Готовясь к встрече с Александрой, он обдумывал различные варианты разговора, беседуя мысленно с ней. И все равно не знал, что сказать. Многое зависело от самой девушки. Но если бы она посмотрела на него как Светлана, он подошел бы и сказал: «Какое счастье, что мы наконец-то встретились вопреки всему! Теперь никогда не расстанемся!..» И сразу распахнулась бы дверь перед ними в новую жизнь, наполненную любовью и простыми человеческими радостями. Только так! Не иначе!..

«Не пойду я никуда! – подумал Фёдор. – А то потом наплетут Александре, чего и не было!»

Он посмотрел на Светлану, словно намеревался извиниться за своё решение, и вдруг как наткнулся на колючий взгляд Семёна. Тот сидел набычившись. Геннадий что-то говорил ему и тоже недружелюбно поглядывал.

«Похоже, оба рассердились! – усмехнулся Фёдор. – Ну, ребята!.. Вот и походи с вами... Драки мне только не хватало!.. И что я тут, собственно, делаю?»

Он почувствовал себя неприкаянным на этом чужом празднике... В маленькой комнате в груде верхней одежды гостей он нашел свою куртку. Держа её в руках, он вышел в сени и там оделся.

III

В очередной раз Фёдор едва не сошёл с дороги, выскочив на бордюр из снега. Ничего не было видно. Единственный фонарь горел позади в центре села между клубом и старой конторой. А в домах редко где светились окна... В стороне от дороги Фёдор слышал шуршание снега. Донеслось бормотание человека. Кто-то барахтался в сугробе около забора.

– Ну и что ты там делаешь? – спросил Фёдор, чиркнув над головой зажигалкой.

– А... Кто? – вскричал жалобным голосом человек. – Помогите!.. Блукаю!

И он пополз по направлению к крохотному язычку пламени. Не выдержав, Фёдор sprыгнул в снег, вытащил бедолагу на дорогу и отряхнул. Он сразу узнал его по голосу. Это был дед Рябок, который возвращался домой со свадьбы. Шапку, шарф, перчатки он где-то потерял в снегу. Завтра их кто-нибудь найдёт и принесёт. А пока Фёдор надел на него свою шапку, а себе на голову натянул капюшон куртки. Он угостил деда сигаретой, поднес зажигалку. Тот какое-то время тыкал сигаретой мимо пламени, скосив глаза и пытаясь разглядеть Фёдора. Сигарета намокла в его пальцах, и он бросил её на дорогу.

– Ты чей это будешь? – спросил он и, не дожидаясь ответа, тут же сказал: – Доведи меня до дома, мил человек! Тут недалеко!..

Шагая под руку с Фёдором, он несколько пришел в себя, повеселел и даже попытался спеть хриплым голосом что-то похожее на:

– Эх, сгубили меня твои карие очи!

Погубила твоя красота!

При подходе к дому он вырвался из рук Фёдора и, не поблагодарив и не попрощавшись, припустился бегом к калитке. Фёдор едва успел сдёрнуть с его головы свою шапку... Вскоре в доме зажгётся свет. Через незавешенное окно было видно, как дед Рябок, не раздеваясь, подошел к печи и протянул над плитой руки... В этом краю села Фёдор часто бывал. Через два дома от деда жили родители Александры. У них светилося одно окно, дальнее от улицы, кухонное. В комнате же мерцали всполохи телеэкрана. Словно там развели костерок, голубое пламя которого не сулило тепла... На фоне освещенного окна появилась и затем исчезла тень человека.

«Может, это Александра?» – мелькнула мысль у Фёдора, и его сердце встрепенулось. И как будто ярче засиял молодой месяц. В мягком его свете отчетливо увиделось высокое крыльцо, на котором Фёдор когда-то стоял с Александрой. Старая черёмуха в их палисаднике простирала за ограду заснеженные ветки. Там под сугробом была скамейка. От них открывался живописный вид на просторный деревенский пруд. По его пойме кустился лозняк, пряча гибкие нижние ветки в зарослях камыша. А дальше тянулись поля с берёзовыми околками. Тогда в своих мечтаниях Фёдор не устремлялся за горизонт. Ему было хорошо в селе... Но когда это было? Наверное, теперь и следов Александры здесь не найти, только остались эти памятные места, как некие вешки над его юношескими неисполненными желаниями и надеждами. Но в его сердце ещё полно сил, и оно так жаждет любви...

Босой встретил его далеко от дома.

– Что же ты меня там одного оставил? – спросил Фёдор, теребя его загривок... Почувствовав укоризну в голосе, пес, понурясь, прижался к ногам хозяина и несколько раз сглотнул слюну.

Фёдор включил свет во всем доме, начиная с веранды и в сенях. Не раздеваясь, прошел на кухню. Отломил примерно треть от сдобного батона. Подумав, достал из холодильника палку колбасы и отрезал небольшой кусочек. В одном из пакетов на кухонном столе нашел около десятка засохших пряников. И с удовольствием потом слушал, как хрустели эти пряники на зубах у собаки...

Свет из окон бил на все четыре стороны, выказывая раскопанную в снегу поленницу дров, нижние ветки тополя в палисаднике, чистое пространство огорода. И как отдавало что-то в душе у Фёдора. Он был дома. Не нужно никуда спешить, не перед кем суесться. И почувствовал, как он сильно устал за день. В обратном порядке он выключил всюду свет, оставил его только в прихожей. Не разбирая постели в кухне, лёг поверх одеяла и укрылся старым отцовским полушубком.

«А всё-таки очень симпатичная эта Светлана! – подумалось вдруг Фёдору, и он усмехнулся своим мыслям. – Пора ей, однако, замуж выходить! Позовут, видимо, скоро!»

Мех одарил его благодатным теплом. И Фёдор начал проваливаться в сон. Как березовый листок, оторвавшийся от ветки, колыхаясь, медленно опускался на землю, где и успокоился потом на гряде таких же, как он, меж корявых и скрученных корней. И с трудом верилось, что этот листок когда-то радовал глаза яркой зеленью, трепетал в дуновениях летнего ветерка... В следующее мгновение Фёдор уже скакал верхом на лошади, удаляясь от села. В то время как другой Фёдор с хитроватой усмешкой махал ему вслед рукой, пока тот не скрылся за лесом. И этот Фёдор повернулся к селу. Шиферные крыши домов рдели в лучах вечернего солнца. Запрудив всю ширину улицы, блея и мыча, возвращалось с пастбища деревенское стадо. Почти у каждой калитки его встречали люди, в основном пожилые и дети. А у их калитки стояла почему-то не Александра, а Светлана, в джинсовом костюмчике, в маленьких глянцевах калошиках, повязанная белым ситцевым платочком так, что её лицо казалось детским и очень милым. За руку она держала белобрысого курносого мальчика лет трёх, который всё порывался бежать навстречу стаду. Оттуда к ним сворачивала крупная черно-белая корова. Она шла тяжело, как-то на раскоряку неся огромное тугое вымя, и трубно мычала, словно жаловалась: «День выдался жарким! Донимал гнус! Но я тем не менее принесла домой полное вымя молока, так что вполне могу рассчитывать на вашу признательность и заботу!»

Фёдор не слышал, когда вернулись домой отец с матерью. Увидев сына, Степан Прокопьевич вспомнил о его приезде и кинулся было будить. Кое-как Анна Андреевна уговорила не трогать сына и оставить всё до утра. Переполненный впечатлениями от свадьбы, Степан Прокопьевич долго не мог успокоиться. Разрушив великолепие убранства второй кровати, Анна Андреевна достала оттуда пуховое одеяло и укрыла им Фёдора. Присела на краешек кровати, в задумчивости сощепя руки. Но в комнате бурно и неразборчиво загомонил Степан Прокопьевич, и она заторопилась к нему. Погладила мужа по голове и по груди. Он вскоре успокоился и затих подле неё.

Борис Былин

БРАТАНИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ещё в восемнадцатом веке Джонатан Свифт разумом лошади взглянул на жизнь людей и написал: «Послушав рассказ Гулливера о жизни британцев, правитель гуингмов пришёл к заключению, что мы являемся редкой породой животных, наделённых благодаря какой-то непонятной для него случайности – крохотной частицей разума, каковой мы пользуемся лишь для усугубления прирождённых нам недостатков и для приобретения пороков, от природы нам не свойственных».

Что подумают о нас потомки по следам, которые мы оставим? Сейчас археологи находят пузатые фигурки, любовно выточенные из мамонтовой кости, из камня и дерева. Возраст ископаемых переваливает за 40 тысяч лет. Предков больше всего волновали вопросы продления жизни. Далее ископаемый материал изменяет своё предназначение. Наконецники стрел, мечи и наверхия копий покажутся забавой по сравнению с тем, что останется от настоящего времени. Ракетные шахты, зарытые, утопленные склады химического оружия, атомные подводные лодки на дне океана, ядерные могильники – вот следы нашего сумасшествия. В нас «крохотную частицу разума» правитель гуингмов обнаружить уже бы не смог. Но вот что примечательно. Тысячи лет воевали, используя меч, лук со стрелами и копьё. Не совершенствовали оружие, не искали новых способов убийства, хотя во многих областях достигали такого совершенства, что учёные до сих пор головы ломают. Видимо, перед нашими пращурами не стояло задачи убить побольше врагов. У них и в мыслях не было насадить свои воззрения. Им было безразлично, что где-то и кто-то богов называет по-другому и иначе требы воздаёт. Задача «убить больше» встала с возникновением религиозных войн, чтобы было легче насадить новую идеологию. Каждая страна стремится увеличить безопасность посредством усиления мощи своей армии. Но прекратить движение по порочному пути не только нужно, но и возможно. Обратимся к историческому опыту. Много ли нам известно, скажем, о том, как проходили братания на фронтах Первой мировой войны?

В преддверии столетия этого проблеска людского благоразумия (именно так можно назвать братания) я удивился, что ничего про это не читал, кроме сухих строчек в учебниках истории. Обратился к товарищу, который неплохо знает литературу. Он отослал меня к книге Анри Барбюса «Огонь». Но и в этой книге о братаниях ни слова. Правда, там так основательно описаны отношения простых солдат к войне, к противнику, что перед лицом бесчеловечной индустриальной войны братания представлялись единственным спасением. Обратился за помощью в Тимирязевскую библиотеку, и заведующая Т.М. Бородина, используя библиотечные каналы, нашла статью А.Б. Астахова «Братания на русском фронте Первой мировой войны». Статья напечатана в журнале «Новый исторический вестник» за 2011 №28. И это практически всё, что смогли найти библиотечные работники.

Важное для сохранения рода человеческого прозрение не описано, не осмыслено. А ведь братания были настолько массовы, что с осени 1915 года цензурные отчёты и доклады по ним стали делаться не реже раза в месяц. К ним прикладывались выдержки из писем с фронта. Таким образом, сохранилось письмо солдата 41-го пехотного Селенгинского полка, в котором описано братание: «На первый день Пасхи когда мы уже разговелись отдохнули

немного у нас всё тихо ни одного выстрела стали мы из своих окопов махать шапками до своего врага и он тоже начал махать и стали звать друг друга к себе в гости и так что мы сошлись помаленьку с австрийцами на средину между проволочное заграждение без никакого оружия и начали христосоваться а некоторые австрийцы были православны то целовались с нами и некоторые с жалости заплакали и угощали друг друга вместе плясали как настоящие товарищи а потом разошлись и должна быть наша история в писана в газетах». Прошло сто лет, а до сих пор мурашки пробирают. О какой газете речь? Письмо отловила цензура. Оно даже до адресата не дошло. Братания носили не эпизодический, а массовый характер. Например, на Пасху 1916 года (совпавшую с этим праздником у противника – 10 апреля) в братаниях участвовали десятки полков Северного и Юго-Западного фронтов. В Пасхальную неделю 1917 года со 2 по 8 апреля в братаниях участвовали уже свыше сотни полков. Дело доходило до того, что в 55-м пехотном Сибирском полку на Западной Двине, на форте Франц стрелки 4-го батальона условились с германцами «жить в дружбе», без предупреждения никогда не тревожить друг друга, не стрелять и не брать пленных. Эти договорённости существовали ещё с начала позиционной войны при нахождении на позиции 53-го Сибирского стрелкового полка, который передал сложившиеся связи заступившим на позиции с 10 декабря 1915 года подразделениям 55-го Сибирского полка.

Кроме таких обширных, но сухих данных о братаниях в статье Асташова делаются попытки поиска причин расцвета пацифизма. Основная масса солдат в то время была из крестьян. Крестьянам характерно неприятие долгого соперничества, стремление скорее пойти на мировую, простить. Я больше скажу: воин и пахарь не могут быть в одном лице. Предки это прекрасно понимали.

В сказке «О мёртвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкин описал, чем занимались воины:

*Перед утренней зарёю
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить,
Иль бабку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса.*

Крестьянина за такими делами даже представить себе невозможно. В XVII веке донские казаки, к которым хлынула толпа переселенцев, нарушая их привычные обычаи, постановили: «А егда кто из казаков станет землю пахать и хлеб сеять, того казака бить и грабить». На Руси, как и в Индии, были касты. Воину по происхождению считалось постыдным участвовать в крестьянских делах. Настоящему крестьянину заниматься воинскими делами не позволяла вся его натура. Он скотину и ту резал со слезами. Испокон веков существовало это разделение занятий.

И вот крестьян загнали в окопы. Результат можно было предсказать. Крестьянам война была не по душе, и это одна из причин того, что монархия рухнула. В книге «Воспоминания крестьян-толстовцев» И.Я. Драгуновский повествует: «19 марта, в четверг, за три дня до Пасхи, мы, по обыкновению, оделись ночью и, попив чаю, залегли в землянку отдыхать, как вдруг услышали радостные крики солдат. Мы быстро выскочили из землянок, из других тоже вылезли все солдаты и смотрят на немецкие окопы. И чудная картина предстала перед нашими глазами: там тоже все немецкие солдаты вылезли из окопов, а десять человек отделились и шли к нашим окопам. Это было для нас радостным чудом. Побегал и я туда узнать, каким образом произошёл этот мир. Десять человек немцев подходили к левому флангу 1-й роты, а батальонный командир не пускал нас туда, но немцы сошлись с нашими солдатами в середине фланга и разговаривали с ними. Один из немцев пришёл и к нашим окопам, и мы дали ему булку хлеба, а он стал жаловаться, что им мало дают хлеба. Мирное братание русских и немцев, враждующих и стреляющих по приказанию начальства друг в

друга, продолжалось бы дольше и, скорее всего, кончилось бы миром. Но оно нарушилось страшной руганью командира, что солдаты без разрешения начальства стали брататься. И он передал по телефону артиллерии, чтобы стреляли по немцам. Два шрапнельных снаряда разорвались над немецкими окопами, но солдаты не прятались, а продолжали сидеть наверху и мирно разговаривать. Остальные пятнадцать выстрелов были далеко переброшены за немецкие окопы. Простые, рядовые люди жалели друг друга».

Справедливости ради, надо сказать, что крестьянство не было таким отсталым, каким нам его потом представляли. Так, первый в России и наиболее массовый профсоюз – Крестьянский союз (под водительством левых эсеров) был ликвидирован диктатурой РКП(б) в Гражданскую войну. В крестьянской среде большое влияние имели анархисты, которые крестьян истинно ценили. Например, Н.И. Махно так выразился: «Считают крестьян отсталыми, а пролетариат передовым. Но ведь крестьянин сам организует свой труд, а труд рабочего организуют».

Я почти не нахожу сторонников моих пацифистских воззрений. Наверно, это потому, что сильные мира сего приложили столько стараний в направлении поднять войну до святого дела, представить войну богоугодным делом. Со времён вавилонско-ассирийских представлений о войне, где истребление врагов понималось как божья заповедь во имя святой славы – люди подвергаются сильнейшему зомбирующему влиянию. Призвать к благоразумию правительства вроде бы должны священники, но не тут-то было. Анри Барбюс описывает такую картину. Французский лётчик пролетел над линией фронта и рассказывает: «Было воскресение, и подо мною служили две мессы: я видел алтарь, священников и стадо молящихся. Чем больше я снижался, тем ясней я видел, что эти две толпы одинаковы. Любая из этих двух церемоний была отражением другой. Молитва, единый язык: «С нами бог!» Но ладно стадо, а пастухи. А служители. Что? Тоже слепы? Нет! Они просто к горю глухи. Они словно псы – свирепы. Не Богу служат, а Сатане. Мирской для них важней хозяин. Якобы служат своей стране. Не видя дальше своих окраин».

Упомянутый ранее Драгуновский вспоминал: «В минуты раздумий я стал замечать за собой, что начинаю звереть. Стреляя из окопов в немцев, я не чувствовал жалости к ним. Мне сказали, что это наши враги. Поп, святой отец наш, отправляя нас в бой и благословляя, нас, солдат, называл «христолюбивым воинством», говоря, что мы идём на священную войну, за царя и отечество. Жалость к человеку исчезла; ум, чувства и воля оказались во власти массового гипноза, дисциплины. ...18 января праздновали полугодовщину начала братоубийственной войны. Ходил и я в походную церковь, устроенную в лесу. Странно было слышать слова священника, воодушевлявшего на новые победы христиан, которые должны любить врагов». На фронтах с нашей стороны тогда было пять тысяч батюшек, которые были против братаний. Один из них Г. Шавельский, служивший в 63-м Сибирском полку, писал: «Я мог быть убит. Солдаты говорили: «Воевать хочешь – бери винтовку и вой!».

...Советский Союз перед своим распадом в 1990 году успел совершить радующее меня деяние. На подворье ООН в Нью-Йорке стоит памятник «Св. Георгий, торжествующий над остатками двух баллистических ракет». Это дар СССР. А то, что факты братаний в нашей стране подвергнуты забвению, меня удручает. Это особенно контрастно выглядит на фоне того, как чтят в странах Западной Европы память о Рождественском перемирии. В 1999 году в Бельгии был установлен памятный крест, текст на котором гласит: «1914 – Рождественское перемирие боевых товарищей – 1999 – 85 лет – Чтобы мы не забыли». В 2008 году к 90-летию окончания Первой мировой войны во французской деревне Фрелинген был торжественно установлен мемориальный знак в память о рождественском перемирии. Церемония открытия сопровождалась футбольным матчем между британскими и немецкими солдатами. Дело в том, что в письмах, дневниках, мемуарах, газетных публикациях есть многочисленные упоминания о футбольном матче, состоявшемся между английскими и немецкими солдатами на нейтральной полосе во время перемирия. Матч закончился со счётом 2:3 в пользу немцев. Вышедший в 1983 году альбом Пола Маккартни «Трубы мира» возглавил британский хит-парад, а центральная песня этого альбома была представлена видеоклипом режиссёра Кейта Макмиланна про перемирие и футбольный матч. Написанная в 1990 году песня «Сейчас вместе» ливерпульской группы «The Farm», посвящённая футбольному матчу во время перемирия, была выбрана в качестве официального гимна сборной Англии на чемпионате Европы по футболу в 2004 году. В 2005 году французский режиссёр Кристиан Каррион снял фильм по мотивам того перемирия под названием «Счастливого рождества».

В 2005 году ушёл из жизни британский ветеран Первой мировой войны Альфред Андер-

сон, проживший 109 лет. В некрологе было подчёркнуто, что «в 1914 году Андерсон участвовал в знаменитом Рождественском перемирии, когда на нейтральной территории во Франции британские и немецкие солдаты пожали друг другу руки». Министр по делам ветеранов Соединённого Королевства подчеркнул этот факт биографии как один из особо ценных. У нас ветераны той войны не были в почёте.

Европа превратилась в сообщество, и то перемирие сыграло в этом не последнюю роль.

ВОИТЕЛЬНИЦА-СИБИРЯЧКА

Публицистическо-краеведческий очерк

Мария Леонтьевна Бочкарёва (урождённая Фролкова) – единственная женщина полный Георгиевский кавалер (4 ордена с бантом), получившая за храбрость ещё и 3 медали.

Создала первый в истории российской армии женский батальон, мемуаристка.

Судьба Марии Бочкаревой необычна, даже авантюрна. Сначала жена пьяницы-рабочего, подруга бандита... Затем неожиданный поворот: храбрый солдат-фронтовик, унтер-офицер и офицер русской армии, самая яркая героиня Первой мировой войны.

«Мой милый, если б не было войны...» Это о Второй мировой. А о Первой мировой ни песен, ни преданий нет у нас. Паровым катком прошла советская эпоха.

А вот 103-летний Павел Григорьевич Молостов, ровесник моего прадеда, последний настоящий кержак нашей деревни, Второй мировой войны как-то и не заметил. Понятно, почему: умирал от голода в Нарыме, раскулачен был.

Я беседовал с участником первой мировой: мне тридцать лет, ему девяноста три. Памятью он прикован был к той германской. Тут вот что важно: он, старовер, мыслил историко-софски, по-своему видел религиозный смысл событий.

Выползли на свет гады и скорпионы, прежде по щелям таившиеся: «Долой!» и «Да-ёшь!». А кто даст, если «Бога нет»? Ясно, кто – бес. Те, мол, прошлые герои – ложные все, только наши, с кровью братоубийства на знамёнах, – только они истинные. И смели все ворота, и подавили самих себя. Не внешний враг победил тогда, сдали Родину внутреннему врагу. Брестский мир – капитуляция на пороге победы.

Забыть великую кровь! Как будто не с нами всё это случилось! Ведь были подвиги, были герои!.. «Не календарный, настоящий двадцатый век», по Ахматовой, начался с четырнадцатого года.

А потом, через поколение, была великая победа...но в ситуации национальной катастрофы. Настаиваю: без Ленина не было бы и Гитлера. Разогнав Учредительное собрание и подло уничтожив Михаила Романова, в пользу которого отрёкся Николай, большевики сделали оба отречения недействительными. И создали ситуацию гражданской войны. И запустили машину беспамятства. Вот с каким духовным капиталом перешагнули мы рубеж тысячелетий. «Мы почему, Иван, такие-то?» Родства не помнящие?».

Поговаривают о нынешнем киносериале, где главная героиня Мария Бочкарёва. В голливудском духе? Нынешний потребитель триллеров не охоч до трагедии. Но, думаю, всё-таки потрясающая эта судьба проймёт любого. Это же позор наш – не знать о великой землячке.

И сколько ещё незаслуженно забытых героев? Всё, что было во спасенье Отечества, вывернули наизнанку, подменили, унизили. Где стыд и где слава?

Старый пасечник Молостов говорил: «Переворот, на что он похож? На больной рой, когда матки не стало. Комком пчёлы скрутятся, давят друг дружку и гадят, гадят на самих же на себя. А трутней скорей – в начальники».

Вот и у нас дураками выставили национальных героев, а предателей – святыми. В урок ли нам это? Да, такие судьбы, как у Марии Бочкарёвой, скрепляют поколения, питают память. Ту самую, без которой нет нации.

*А. Казаркин,
профессор ТГУ.*

Слава как одуванчик

Ей довелось на своём веку встречаться с главой Временного правительства Керенским, с двумя верховными главнокомандующими русской армией – Брусиловым и Корниловым.

«Русскую Жанну д'Арк», как называли её за кордоном, официально принимали президент США Вудро Вильсон и английский король Георг V. Все они отмечали силу духа этой неординарной женщины.

Марию Бочкарёву когда-то знал весь мир. Репортёры наперебой брали у неё интервью, за ней по пятам ходили фотографы, журналы помещали на обложках её фотопортреты. Одни её любили, другие – даже ненавидели. На долгие годы после войны в памяти соотечественников остались лишь презрительные строчки Маяковского о «дурах бочкарёвских»...



Крестьянка по происхождению

В 1889 году в крестьянской семье Фролковых (Новгородской губернии) родился третий ребёнок – дочь Маша. Отец Марии пил горькую и нещадно бил жену. В это время правительство бесплатно раздавало крестьянам землю в Сибири. Отец решил попытать счастья на новом месте. Землю, действительно, получили, но поднять целину на таёжном участке не смогли. Семья осела в Томской губернии и жила в бедности. С восьми лет Маша уже служила «в людях» – нянчила чужое дитя, работала в бакалейной лавке, жила в прислугах в семье военного. «Маленькая мужичка» – называли её хозяева.

На шестнадцатом году её соблазнил молодой офицер, сын хозяина, обещал ей жениться... Отец Марии, когда узнал об этом, чуть не убил дочь. Он пил всё больше, становился всё более жестоким. Замужество было единственным средством спасения, и Мария готова была пойти хоть за чёрта. И он явился.

Замужем за «чёртом»

В Томске в книге Воскресенской церкви сохранилась такая запись от 22 января 1905 года: «Первым браком Афанасий Сергеевич Бочкарёв, 23 лет, православного вероисповедания, проживающий в Томской губернии, Томском уезде Семилужской волости деревни Большое Кусково, взял в жёны девицу Марию Леонтьевну Фролкову, православного вероисповедания...».

Афанасий Бочкарёв был старше Марии на семь лет, груб и неразвит, только что вернулся с русско-японской войны. Вскоре после свадьбы Мария узнала, что муж, как и отец, тоже пьёт, срысывается в запои. Семейная жизнь их почти сразу не заладилась: муж хозяйствовать и зарабатывать на жизнь не умел и не любил; он не только сильно пил, но и стал поколачивать юную жену. Бочкарёвы разгружали баржи на Оби, потом устроились укладчиками асфальта. Мария очень быстро вникла в тонкости дела. Здесь впервые проявились её организаторские способности. Очень скоро Бочкарёву назначили помощником десятника, под её началом трудились 25 человек. А муж так и оставался чернорабочим. Он по-прежнему избивал жену и пропивал все деньги.

И Мария взяла на себя роль кормилицы-добытчицы. Молодая женщина отправилась на строительство железной дороги. Платили и там немного, но и эти гроши отбирал муж и пропивал. Кончилось тем, что Мария сбежала от него. Решила бежать к сестре в Барнаул. Но без документов это было невозможно. В то время женщина могла получить паспорт только с разрешения мужа. Мария взяла паспорт матери, но на пристани была остановлена жандармским офицером. Через некоторое время муж разыскал Марию, воротил домой, и её

мучения возобновились. Она и топилась, и пыталась зарубить ненавистного мужа топором, только чудом осталась жива и не сделалась убийцей.

Второй побег от мужа оказался удачнее, Мария оказалась в Иркутске и там нанялась на знакомую работу – мостить дороги бетоном и асфальтом. Скоро под её началом трудились двадцать пять человек. Её свалила сильная простуда, несколько месяцев Бочкарёва лечилась в больнице. После излечения осталась без денег и работы. В конторе по найму ей предложили место прислуги в городе Сретенске. Приехав в указанный дом, Мария поняла, что её обманным путём завлекли в бордель.

Денег на дорогу не было, да и куда ещё бежать? Её спас сын местного торговца мясом Яков (Янкель) Бук. Он забрал Марию из борделя, и они стали жить гражданским браком – разгорелся бурный роман.

Роковая любовь

Обоим было едва за двадцать, но оба уже повидали жизнь. У Яши была страсть – карты. Однажды, чтобы расплатиться с долгами, он вступил в банду хунхузов, участвовал в налёте на поезд, был арестован и чудом избежал тюрьмы. Мало того, он и с революционерами знался, укрывал нелегалов и беглых. Кончилось это тем, что Якова арестовали за укрывательство беглого преступника и отправили в мае 1912 года в якутскую ссылку.

Мария пешком пошла за своим гражданским мужем. Как декабристка, последовала за Яшкой по этапу. Но в ссылке Яков опять начал играть. Карты были излюбленным развлечением богатых якутов и золотоискателей. В Якутске Яков продолжал заниматься прежними делами – скупал краденое и даже участвовал в нападении на почту. Его вновь осудили и выслали в глухое якутское селение Амга – на край света, где кроме нескольких ссыльных жили эскимосы. В посёлке Амга Мария оказалась единственной русской женщиной. Она взяла на себя все бытовые тяготы, создала в посёлке баню, стирку белья. Вместе с Яшей завела мелкую торговлю. Но Яков не оценил подвига самопожертвования любящей его женщины и вскоре начал пить и избивать Марию. Мария уже не раз задумывалась, за что ей такие мучения? Казалось, нет выхода из замкнутого круга.

А шёл уже 1914 год. Если уж суждено пропасть, то хоть бы не зря!.. Вот и надумала Мария податься в солдаты: «У солдата есть оружие, чтобы бороться за собственную жизнь, а у женщины...». Скорее всего, именно это послужило причиной её решительного поступка – бегства от Яшки и возвращения в Томск.

Отчаянный шаг

И до Колымы, хоть и с опозданием, докатилась весть, что началась война с Германией и Австро-Венгрией. Мария решила пойти солдатом в действующую армию. Впоследствии она вспоминала, что у неё сразу возник план: идти на войну, отличиться в боях и просить затем о помиловании Якова. Так или иначе, Мария Бочкарёва ушла пешком через тундру и тайгу, добралась до Томска. Придя в штаб резервного батальона, расквартированного в Томске, она заявила о своём желании стать в строй.

Шёл ноябрь 1914 года. Мария нашла в Томске командира резервного батальона, потребовала, чтобы он «записал её в солдаты» и отправил на фронт. Тот, как и другие, вновь посоветовал ей записаться в Красный Крест и отправиться на фронт в качестве сестры милосердия или попросить другую вспомогательную службу. Мария подкарауливала его в засадах, умоляла, рыдала. Тогда командир, то ли в шутку, то ли всерьёз, предложил послать телеграмму царю. Только царь, мол, может отменить свой закон, а заодно и закон природы. И Бочкарёва совершила отчаянный шаг – отправила на имя императора телеграмму. Телеграмма обошлась ей в целых восемь рублей, да и те ей пришлось занять. Она просила разрешить ей «послужить во славу Отечества».

И вскоре в Томск пришло послание от Николая II. Он выражал своё одобрение и повелел зачислить женщину в строй как солдата. Для Марии было сделано исключение. «Это был самый счастливый момент в моей жизни», – вспоминала она. Так осенью 1914 года после высочайшего приказа Мария Бочкарёва была принята в армию. Крестьянка Томской губернии поступила рядовым в запасной Томский батальон.

Рядовой солдат Мария Бочкарёва

Так в списках батальона появился «рядовой Бочкарева», было ей 25 лет. Её остригли под машинку, и Мария превратилась в мальчишку. Ей выдали две пары нижнего белья (разумеется, мужского), две пары обмоток, пару сапог, пару штанов, гимнастёрку, ремень, папаху, винтовку, два подсмук для патронов и, конечно, шинель. Её появление среди новобранцев вызвало взрыв хохота и насмешек. В казарме о ней уже слышали. Солдаты обступили Бочкарёву со всех сторон, толкали плечами, щипали: «Да никакая это не баба, а натуральный мужик!».

Всю первую ночь Бочкарёва не сомкнула глаз, отбиваясь от поползновений сослуживцев. Нашлись желающие проверить «на ощупь», а действительно ли этот неulyбчивый солдат – баба? У Марии оказался не только твёрдый характер, но и тяжёлая рука: она с размаху била смельчаков сапогами, котелком, подсмукком. Да и кулачок у асфальтоукладчицы не дамский.

Бочкарёва не жаловалась начальству, на учениях была в числе первых. Постепенно отношения наладились. Её начали уважать, а позднее – и гордиться ею, готовы были убить любого, кто покусится на честь их «Яшки» (такое прозвище дали однополчане). Солдаты часто звали друг друга не по именам, а по кличкам, Бочкарёва сама предложила: «Знаете что, зовите меня Яшкой!». Ясно, в память о Якове Буке.

Вначале была недолгая учёба в тылу, а весной 1915 года Мария оказалась в окопах. Если до этого можно было говорить о каком-то капризе или желании бежать от безысходной жизни, то её действия на передовой показали, что она – настоящий боец.

Проверка боем

Фронт проходил через нынешние Витебскую, Гродненскую, Минскую и Брестскую области. Здесь развернулись крупные боевые операции, и сотни тысяч солдат остались лежать здесь, теперь в белорусской земле. Мария Бочкарёва воевала под городом Сморгонь. Это единственный город на трёх фронтах от Балтийского до Чёрного морей, который долго и упорно (810 дней) обороняли русские войска. И не сдали его до самого перемирия. «Кто в Сморгони не бывал, тот войны и не видал» – такая после боёв ходила поговорка. Под артобстрелом и шквальным огнём пулемётов рота пошла в атаку. До проволочных заграждений дошли семьдесят солдат из двухсот пятидесяти. Русская артиллерия не сумела разбить вражеские заграждения. Не сумев преодолеть заграждения, солдаты повернули назад. Из отходящих семидесяти солдат до окопов дошли лишь около пятидесяти.

Своё боевое крещение Мария связала со столкновением «с самым бесчеловечным из всех германских изобретений» – с отравляющими газами. Из её воспоминаний: «Убийственный газ проникал внутрь, вызывая в глазах острую резь и слёзы. Но мы же были солдатами матушки-России, чьим сыновьям не привыкать к удушающей атмосфере, и поэтому мы сумели выдержать воздействие этих раздражающих газов».

На войне быстро тупеют и черствеют. А она не могла вынести стонов раненых товарищей на нейтральной полосе. Немного передохнув, как только стемнело, она поползла под немецкие пули и всю ночь до рассвета волоком перетаскивала раненых в траншею. Почти 50 человек спасла она в ту ночь, за что и получила Георгиевский крест 4-й степени. 8 июля 1915 года Мария снова участвовала в бою. Ночью на 9-е число была контужена и вывезена в лазарет Петрограда – на полтора месяца.

Бочкарёва быстро стала живой легендой полка. Она ходила в атаки, в разведку, участвовала в ночных вылазках, вытаскивала раненых под огнём, участвовала в штыковых атаках (не одного германца «взяла на штык»). К февралю 1917 года у неё было 4 ранения и 4 награды (2 георгиевских креста и 2 медали), на плечах погоны старшего унтер-офицера.

А иногда то, что она – женщина, даже помогало: когда попала в плен к немцам, удалось выдать себя за солдатскую жену.

Три раза за великую войну Мария побывала в Киеве. Один раз проездом, а остальные на излечении ран. Своё первое ранение в ногу она лечила в киевской больнице, превращённой в госпиталь. И каждое возвращение Марии в полк после ранений сопровождалось аплодисментами и бурной радостью всех солдат и офицеров.

Военные будни

Мария Бочкарёва воевала героически уже в роли младшего унтер-офицера, ни в чём не уступая мужчинам. Хотя наступило лето, но полк стоял в болотистых местах, вода наполняла окопы. При наступлении зимы Бочкарёва добровольцем ходила в разведку, «взяла на штык» германца. Штык застрял у него в животе, а немцы напирали. Бочкарёва бросила в них гранату и побежала к своим. До окопа добрались живыми десять из тридцати разведчиков.

Зима выдалась суровая, в окопах невыносимой. Люди отмораживали руки и ноги, засыпали под снегом и уже не просыпались. Особенно тяжело бывало в дозоре, в аванпостах, где нельзя пошевелиться или позвать на помощь. Бочкарёва тоже отморозила ногу, её отправили в госпиталь, дело шло к ампутации, но обошлось.

Уже во второй атаке Бочкарёва была ранена в ногу. Всю весну лечилась в госпитале в Киеве – и снова на фронт. Но следующий бой вывел её из строя. Она оказалась раненой осколками в бедро и в бессознательном состоянии доставлена в лазарет.

Ещё в одном бою Бочкарева была контужена и отправлена в госпиталь. Захватывала пленных и сама побывала в плену, правда, всего несколько часов – свои отбили. Бочкарёву произвели сначала в младшие, а затем в старшие унтер-офицеры и доверили командовать взводом.

Новый этап военной жизни

...И опять окопы, стужа, постоянное напряжение. В весеннем наступлении 1916 года полк с огромными потерями прорвал германский фронт, но... получил приказ отступить на исходные позиции. А Бочкарёва была убеждена: нужно наступать, разбить германца, и тогда наступит мир. Так думали почти все в окопах и многие в тылу. Редкие солдаты знали, что сил для наступления всем фронтом нет, что Россия воюет на деньги союзников. Всё это оплачивалось жизнями сотен тысяч русских солдат. Бочкарёва была ранена пять раз. Последнее ранение было особенно опасным – осколок снаряда засел в нижней части позвоночника. Мария долго была обездвижена, заново училась ходить.

В солдатской фуражке, с наградами и унтер-офицерскими погонами на линялой гимнастерке, в широких штанах и грубых сапогах, она гляделась мужчиной. По воспоминаниям современников, только её серые всегда грустные глаза были женственно красивыми.

Когда Яшка возвращалась на фронт зимой 1916 года, на железной дороге уже царил хаос. Солдаты в окопах утратили доверие к командованию, считали, что их просто ведут на убой. А в начале 1917 года уже распространились слухи о Распутине, его влиянии на царскую семью в интересах Германии.

Обстановка в стране

Февральскую революцию на фронте встретили восторженно. Рядовые были уравнены в правах с офицерами, созданы солдатские комитеты. Ликовала и Мария. А позднее писала: «Весь народ «был пьяный сердцем», «...все чего-то ждали. Хорошего чего-то». И ОНО случилась.

Дисциплина в армии расшатывалась, солдаты не исполняли приказы, дезертирство приобретало массовый характер. Ещё в госпитале сестра милосердия, меняя Бочкаревой повязку и обсуждая дезертирство на фронтах, воскликнула: «Мужчины – просто толпа трусов, опьянённая свободой». На фронте началось братание с немцами. Повсюду создавали комитеты, росла большевицкая пропаганда, солдаты отказывались сражаться.

После падения монархии развал армии начался изданием зловещего приказа №1. Он устанавливал в армии полную демократию с подчинением всех воинских частей не офицерам, а своим выборным комитетам. Приказ опрокинул все армейские устои: в том числе военный трибунал и казнь за измену. Оружие офицеров передавалось в распоряжение солдатских комитетов.

К осени 1917 года боевой дух русской армии был уже на нуле. Позицию оставляли даже из-за редкого огня противника. Процветало мародёрство. Толпы солдат, нагруженных немецким хламом, уходили в глубокий тыл во время боёв для торговли немецкими вещами. На поле боя грабили своих же раненых товарищей. Солдаты целыми полками отказывались идти в атаку или шли только по решению местного солдатского комитета.

Когда 9 марта 1916 года в бою погиб ротный командир, Бочкарёва повела солдат в атаку и отбросила врага.

Однако после представления к следующему кресту она, как женщина, получила лишь медаль «За выдающуюся доблесть». В итоге она получила сначала Георгиевский крест, затем три медали. И уж после того Георгиевские кресты.

По всем фронтам пошли рассказы об отважной амазонке.

Слава ее росла не по дням, а по часам. Она стала одной из любимых тем русских газет.



«Боже праведный, – молилась я, – что же случилось с русским народом, что на него нашло?». Как же так: три года войны, столько жертв, и все зазря?! Агитирующих за «войну до победного конца» просто били. Накануне намеченного на апрель 1917 года контрнаступления агитация на фронте парализовала управление русской армией. Мария взывала к солдатскому долгу, чести и совести. Но солдаты перестали её слушаться – не желали умирать «за империалистов». Яшка перестала быть «своей», потому что она была с офицерами. А «начальство» её приметило. Её представили Родзянко, председателю Временного комитета думы, приехавшему выступать на фронте. «А не хотите ли заехать ко мне в Петроград, мой геройчик?» – предложил Родзянко. Бочкарёва согласилась. По дороге в Томск (в начале мая 1917 года) она заехала в Петроград и зашла к М.В. Родзянко.

Заигрывая с солдатской массой в демократию, Временное правительство в итоге не могло заставить дальше воевать граждан новой России. А. Керенский сам сказал в конце жизни: «Ничего бы этого не случилось, если бы расстреляли только одного человека». «Кого?» «Меня», – ответил Керенский.

И вот тогда, чтобы поднять боевой дух солдат, призывали в армию женщин, создали особый женский батальон и отправили его на фронт. Участие женщин в атаках (вместо дезертиров) должно было пробудить в солдатах-мужиках патриотическое чувство. Так Бочкарёва была втянута в политическую борьбу. «Когда Керенский провожал меня до дверей, взгляд его остановился на генерале Половцеве. Он попросил его оказать мне любую помощь. Я чуть не задохнулась от счастья» – вспоминала Мария.

Военный совет 29 июня 1917 года утвердил положение «О формировании воинских частей из женщин-добровольцев». По замыслу Родзянко Мария должна была стать участницей серии пропагандистских акций за продолжение войны. Но Бочкарёва пошла дальше его замыслов: на одном из митингов она выдвинула идею создания «Ударного женского батальона смерти». Она была уверена, что вид слабых женщин с винтовками вдохновит деморализованное войско, и солдаты с новыми силами кинутся сражаться с врагом, прекратится дезертирство и разложение в армии.

Предводительница по призванию

Бочкарёву пригласили представить своё предложение на заседании Временного правительства. «Мне сказали, что моя идея великолепная, но нужно доложить Верховному Главнокомандующему Брусилову и посоветоваться с ним. Я вместе с Родзянкой поехала в Ставку Брусилова». Эта встреча предредила судьбу Бочкарёвой.

Брусилов спросил Бочкарёву, надеется ли она на женщин. Не могут ли женщины, мол, осрамить Россию? Мария сказала, что сама она в женщинах не уверена, но если ей дадут полномочие, то она ручается, что её «батальон не осрамит России»... Брусилов сказал, что верит ей и будет всячески помогать в деле формирования женского добровольческого батальона.

Потом Родзянко повёз Марию в Таврический дворец, где заседали солдатские депутаты, и представил её, заметив, что Бочкарёва – крестьянка. Мария рассказала о своём нелёгком солдатском пути, о настроениях в окопах. 21 мая 1917 года на благотворительном вечере в пользу инвалидов войны в Мариинском театре она выступила с призывом к женщинам России встать в ряды 1-го Петроградского женского батальона смерти. «Гражданки, все, кому дороги свобода и счастье России, спешите в наши ряды, спешите, пока не поздно остановить разложение дорогой нам Родины». И ещё: «Женщина первая родила человека, и мы, женщины, должны первыми показать пример, как надо спасти родившуюся уже свободу».

В тот же вечер в театре началась запись женщин в батальон. Со всех сторон потянулись в Москву женщины и девушки. Ехали даже из Сибири и Украины. Невеста одного белобилетника послала своему жениху следующую записку: «Пока ты будешь пользоваться отсрочкой от призыва, я успею за тебя повоевать за Родину».

Женский патриотизм России

Военный совет 29 июня 1917 года утвердил положение «О формировании воинских частей из женщин-добровольцев». По всей России, от Одессы до Владивостока, стали создаваться пехотные и кавалерийские женские части, правда, формирование многих так и не было завершено.

Формирование женских частей шло исключительно на добровольных началах. Женское движение было «инициативой снизу». В женские ударные части поступали женщины из всех слоёв русского общества. Большой была доля солдаток и казачек. Шли записываться в женские военные батальоны и женщины, получившие образование – курсистки, со средним образованием. Были студентки из разных провинциальных учебных заведений, выпускницы университетов. Вёлся тщательный отбор.

Вступить в женский батальон смерти могла женщина в возрасте от 16 (с разрешения родителей) до 40 лет. Медкомиссия отсеивала больных и беременных. Существовал и образовательный ценз. Так что большинство женских подразделений составляли далеко не безграмотные крестьянки, а довольно образованные по тем временам барышни и дамы. По национальности женщины-добровольцы были в основном русскими, но среди них встречались и иные национальности – эстонки, латышки, еврейки.



Временное правительство вначале обеспечивало женские батальоны мужской форменной одеждой. Но в ней добровольцы выглядели экзотично: в не по размеру великоватых фуражках, в гимнастёрках, подтянутых в талиях широкими ремнями; в мало-ватых для дамских бёдер узких штанах; в грубых сапожищах на маленьких ножках.

27 мая 1917 года в газете «Русское Слово» появилось воззвание Бочкарёвой, которое кончалось словами: «когда над матерью занесён нож, то не спрашивают, кто около – дочь или сын, а спешат спасти её». Вскоре в батальон записались около двух тысяч девушек и молодых женщин. Были крестьянки, прислуга, медсёстры, курсистки и дворянки, некоторые из очень известных фамилий.

В обращении Московского женского союза говорилось: «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины. Женская рать будет тою живою водой, которая заставит очнуться русского богатыря». И правительство решило продолжить эксперимент.

Итак, к лету 1917 в русской армии появились ударные части, сформированные исключительно из женщин. Из тех, что откликнулись на призыв Бочкарёвой, только 300 прошли отбор и были отправлены на фронт.

«Уйдём и умрём...»

В советской литературе создан карикатурный образ женского батальона и его участниц. Их рисовали как легкомысленных особ, авантюристок, искательниц приключений, в том числе и сексуальных. Бросалась в глаза интеллигентность многих женщин-солдат. Многочисленные публикации и фоторепортажи рисовали их жизнь в идиллических красках, например, как в следующем интервью.

«У вас ещё продолжается запись в батальон?

– Нет, прекращена. ...Каждый день приходят проситься. Это хорошо – значит, поняли, – но все отказ. Довольно». На вопрос корреспондентов о запасных кадрах Мария Бочкарёва ответила: «Ни к чему. Уйдём и умрём...». В июне 1917 года был объявлен приказ о формировании первой Морской женской команды. Было сформировано также два женских пехотных «батальона смерти» и несколько команд. В них вошли более трёх тысяч женщин. Всего же боевых женских формирований было десятка полтора, кроме санитарных отрядов.

Женщины становились пулемётчицами, бомбометальницами и разведчицами. Петроградская газета дала сообщение о создании в Петрограде женского конного партизанского подразделения «Отряд защиты советов», а «Русский инвалид» – заметку о создании отряда «Союз личного примера».

Боевые батальоны смерти

Оказывается, не все курсистки шли тогда в революционеры, были и такие, кто желал послужить своему Отечеству в битве с врагом, а не с динамитом против сановников и министров.

Женский батальон шёл под знамёнами и транспарантами, на которых были лозунги: «Да здравствует Временное правительство!», «Все, кто может, в наступление!», «Вперёд, храбрые женщины!», «На защиту истекающего кровью Отечества!». Он показал себя геройски и понёс большие потери.



Они участвовали в патриотических демонстрациях и на Марсовом поле сошлись с дезертирами. Сначала возникла перепалка, затем потасовка, а потом и перестрелка. Сама Бочкарёва получила сильный удар по голове и оказалась в больнице. Заботу о женщинах-«добровольцах» взял на себя Союз георгиевских кавалеров. Одна из доброволиц женского батальона была сброшена с площадки трамвая под колёса, и ей отрезало обе ноги. После операции она прожила только одну ночь. Расходы на похороны взял на себя женский союз «Помощь Родине».

Порядок в женских войсках

Бочкарёва заявила: «Если я берусь за формирование женского батальона, то буду нести ответственность за каждую женщину в нём. Я введу жёсткую дисциплину и не позволю им ни ораторствовать, ни шляться по улицам. Когда мать-Россия гибнет, нет ни времени, ни нужды управлять армией с помощью комитетов. Я хоть и простая русская крестьянка, но знаю, что спасти русскую армию может только дисциплина. В предлагаемом мной батальоне я буду иметь полную единоличную власть и добиваться послушания. В противном случае в создании батальона нет надобности».

Первое, что потребовала Яшка от новобранцев: «Забудьте, что вы – женщины, теперь вы – солдаты». Всё ополчение из слабого было подстрижено под машинку (наголо). Чёрные погоны с красной полосой и эмблема в виде черепа и двух скрещённых костей означали «нежелание жить, если погибнет Россия».

В первый же день Бочкарёва выгнала 30 человек, на второй – 50. Причины обычные – хихиканье, флирт с мужчинами-инструкторами, игнорé приказов. Она понуждает женщин помнить о том, что они солдаты? и серьёзнее относиться к своим обязанностям. Несколько раз прибегает и к пощёчинам как наказанию за дурное поведение. Несмотря на жёсткую дисциплину, она пользовалась абсолютным авторитетом среди своих «солдатиков», как сама любовно называла бойцов батальона.



В парикмахерской. Стрижка наголо. Лето, 1917

Потянулась казарменная, нудная жизнь. Время шло, а время – смерть порыва. И хотя Московский женский батальон пополнялся, но другой Бочкарёвой, которая была предводительницей Петербургского батальона, не нашлось – командиром этого подразделения был назначен старый полковник из запаса. Сейчас же появилась женщина-адъютант, принялась за организацию канцелярии.

В высших военных кругах сомневались в удаче женских военных батальонов. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал-лейтенант А.И. Деникин на ходатайстве о создании женского военного отряда в Минске написал резолюцию: «На фронт прибывает Петроградский женский легион Бочкарёвой. Нужно выждать и посмотреть, как к нему отнесутся войска. До тех пор признаю формирование преждевременным и нежелательным». Такого же мнения придерживался Верховный главнокомандующий Л.Г. Корнилов. В составленной им справке говорилось: «Дальнейшее формирование из женщин-добровольцев частей чисто боевого назначения прекратить. Части уже существующие оставить пока на фронте... воспользоваться ими для охраны дорог».

Из воспоминаний М.А. Рычковой: «Многие находили и находят смешным и уродливым движение женщин 17-го года и смотрят на него как на никому не нужную жертву. Можно ли было в то время считать уродливым и неестественным какое-либо движение, когда вся жизнь у нас на Родине приняла такие уродливые формы?.. А сколько женщин загублено, опозорено за эти годы! Разве мало их погибло не на фронте, а на своей родной земле? Не лучше ли было бы и Бочкарёвой погибнуть на поле битвы, чем принять ужасную, позорную смерть на Родине, которую она так любила до последней своей минуты?..».

«Вот тогда-то явилась в Москву Бочкарёва пополнить свой отряд из московских добровольцев, чтобы вести его снова на фронт. Понятно, многие пожелали посмотреть Бочкарёву и познакомиться с ней. К нам вышла небольшого роста, полная, белая миловидная женщина в форме пехотного прапорщика, довольно снисходительно приняла нас, удовлетворила наше желание, рассказала кратко свою биографию, показала любопытные следы своих ранений... На желание узнать, что побудило Бочкарёву организовать женский батальон, она ска-

зала: «Я знаю, что женщина как воин ничего ценного не может дать Родине. Мы – женщины только должны показать пример солдатам-дезертирам, как нужно спасать Россию. Пусть мы все погибнем – лишь бы они поняли свой долг перед Родиной! Дайте нам больше триумфа, проводите нас с музыкой. Вот всё, что нам нужно – привлечь внимание!».

<...> Через несколько дней Бочкарёва уехала со своим отрядом на фронт, но уехала не так, как хотела и просила. Отряд отправили с товарной станции далеко от центра Москвы, с пути, к которому трудно было добраться, и без всяких почестей и проводов ...Чего бы не сделал и на что не пошёл бы каждый из нас, если бы мог предвидеть грядущее тогда и пережитые потом годы позора, горя, голода и слёз» (Харбин. 1933 год).

Женщина на защите Зимнего

Вместе с юнкерами женщины были последней защитой Временного правительства. 24-го октября 2-й московский женский батальон, который должен был отбыть на Западный фронт, был вызван в Петроград для участия, якобы, в параде. Батальон оказался в центре политических событий внутри страны, был в дни Октябрьского переворота в числе последних защитников Временного правительства.

Точнее, для охраны Зимнего дворца была отобрана лишь вторая рота этого батальона. Именно она охраняла Зимний дворец в роковую ночь Октябрьского переворота.

...К вечеру 25 октября гарнизон Зимнего дворца напоминал сборную солянку, а не боевую силу: казаки, юнкера и женщины с винтовками. После начала перестрелки ряды защитников стали стремительно таять. Ушли и те немногие казаки, что были в Зимнем, смущённые тем обстоятельством, что вся пехота правительства оказалась «бабами с ружьями».

Отобранных для защиты дворца женщин отвели накануне боевых действий в домовую церковь Зимнего. Вечером Зимний дворец стали обстреливать. Ударниц батальона вывели из дворца и велели идти в атаку. На бедняжек тут же обрушился град пуль, положивший их всех на землю. Ударницы продержались до десяти часов вечера, а затем также выслали своих парламентёров с просьбой выпустить их из дворца. По дороге толпа оскорбляла идущих под конвоем воительниц, все требовали их смерти. А в казармах с некоторыми ударницами «обращались дурно» – как установила специально созданная комиссия Петроградской городской думы: три ударницы были изнасилованы (хотя, возможно, немногие отважились признаться в этом), одна покончила с собой. Впоследствии трупы нескольких десятков сдавшихся защитниц Зимнего дворца находили в петроградских каналах.

«Бочкаревские дуры» без Бочкаревой



Маяковский в поэме «Хорошо!» писал: «Первым / боязнь одолён / снялся / бабий батальон». Поэт неточен: Зимний дворец защищал другой батальон. В него вошли женщины, «забраванные» в своё время Бочкарёвой за недостойное, как она считала, поведение. Мария Бочкарёва, находившаяся в этот момент на фронте, не имела к ним никакого отношения. Однако устойчивый миф продолжал связывать её имя с обороной Зимнего. Кстати, изгнанная рота бочкарёвского батальона, которая охраняла Зимний дворец, на фронте никогда не была.

А.И. Деникин, наблюдавший один из женских батальонов в бою, писал: «Женский батальон... доблестно пошёл в атаку, не поддержанный «русскими богатырями». И когда разразился кромешный ад неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины, забыв технику рассыпного строя, сжались в кучку – беспомощные, одинокие на своём участке поля, взрых-

лётного немецкими бомбами. Понесли потери. А «богатыри» частью вернулись обратно, частью совсем не выходили из окопов».

Советы приняли «женские батальоны смерти» (впрочем, как и все прочие ударные части) в штыки. Большевики сразу взяли курс на поражение в войне, а после Октябрьского переворота – на немедленное заключение сепаратного мира с Германией. В январе 1918 года женские батальоны были распущены, но многие их участницы продолжили службу в частях белогвардейских армий.

Напрасные жертвы

«Мы – женщины – только должны показать пример солдатам-дезертирам, как нужно спасать Россию. Пусть мы все погибнем – лишь бы они поняли свой долг перед Родиной! Дайте нам больше триумфа, проводите нас с музыкой. Вот всё, что нам нужно – привлечь внимание!». Унтер-офицер Бочкарёва, впервые в истории русской армии, принимала из рук архиепископа боевое знамя, на котором в нарушение традиций золотом была вышита фамилия командира. Керенский произвёл Бочкарёву в офицеры, а генерал Корнилов, главнокомандующий, вручил Марии револьвер и саблю с золотыми памятными планками на рукоятке и эфесе.

27 июня 1917 года женский «батальон смерти» в составе двухсот человек прибыл в действующую армию – под Сморгонь, в те же места, где ещё недавно сражалась Бочкарёва-Яшка. Здесь многое переменилось к худшему. Главные вопросы – наступать или нет – решались не в штабах, а на митингах. Прифронтовые города кишели дезертирами. Бочкарёвский батальон придали 525-му пехотному полку. Солдаты встретили женщин насмешками и, как Мария вспоминала, «скотским поведением». Бочкарева также вспоминала: «... никогда прежде не встречала такой оборванной, разнузданной и деморализованной шантрапы, называемой солдатами». Женский батальон представлял собой слишком резкий контраст по сравнению с этой бандой.

Бойцам-женщинам приходилось с оружием в руках оборонять свой отдельный лагерь – не от врагов, а от солдат соседних частей. Разложившихся солдат раздражал вид дисциплинированного подразделения, да ещё из женщин. «Ха, бабальон прибыл!..». Когда целый корпус замитинговал – идти в атаку или не идти, – в атаку пошёл только женский батальон. Когда уже сгущались сумерки, к женскому батальону подошли 75 офицеров во главе с командиром и 300 оставшихся верными присяге солдат. Они попросили разрешения у Бочкаревой стать в строй батальона. Первая линия германских укреплений была взята. В результате атака окончилась только после того, как была захвачена вторая германская траншея. Но в ней были обнаружены и захвачены ящики со снапсом и пивом, и пехота на радостях просто напилась.

Судьбу батальона можно назвать трагичной. Поднявшиеся в атаку женщины действительно увлекли за собой соседние роты. Была взята первая линия обороны, затем вторая, третья... Другие части не поднялись. Подкрепление не подошло. Ударницы отразили несколько немецких контратак. Возникла угроза окружения. Взятые с боем позиции пришлось оставить. Жертвы батальона (30 убитых и 70 раненых) оказались напрасными. Сама Бочкарева в том бою была тяжело контужена и отправлена в госпиталь.

Потом говорили: «Русские бабы смяли под Сморгонью две немецкие линии обороны». Батальон Бочкарёвой в течение двух дней отразил 14 атак противника и, несмотря на шквальный пулемётный огонь, несколько раз переходил в контратаки. И, понятно, нёс потери. В одном из боёв Бочкарёвой угодил в спину осколок. Она пластом пролежала в госпитале около полугода, заново училась ходить. Этот осколок Мария носила в теле до конца своих дней – вынимать его врачи не рискнули.

Мария Бочкарёва была ранена в этом бою в пятый раз. После возвращения из госпиталя была произведена в чин подпоручика. Все мирились и братались, только Бочкарёва выставляла дозоры, прочёсывала ничейную полосу ружейным и пулемётным огнём. Она запретила в её батальоне любые советы и комитеты, любую партийную пропаганду. Женский батальон столкнулся с откровенной ненавистью солдат, не желавших воевать. А один раз Мария выстрелила в гуляющих по нейтральной полосе немецких солдат. Это вызвало такой гнев у своих, что они стали стрелять из пулемётов по бочкарёвским позициям.

Революционный солдатский комитет предательски бросил женщин-бойцов во время атаки и приказал оставить без подкрепления в только что взятых немецких окопах. И тогда

офицеры, оставшиеся в тылу, сорвали погоны, чтобы не подчиняться этому приказу, и бросились на выручку...

Бочкарёва вспоминала: «Водки и пива было полным-полно. Половина наших людей тут же оказались пьяными. Мои девочки вели себя безупречно. Они уничтожали по моему приказу алкоголь, но скоро уже весь полк был пьян». Женщины батальона отнимали бутылки и разбивали их.

Конец войне

Через полтора месяца она в чине подпоручика вернулась на фронт и застала ситуацию развала. 200 оставшихся в живых ударниц не могли спасти армию от разложения. Столкновения между женщинами-солдатами, желавшими победить в войне, и мужчинами-солдатами, стремившимися как можно скорее «штык в землю – и домой», грозили перерасти в гражданскую войну в отдельно взятом полку. Солдаты безжалостно расправлялись с офицерами, арестовали 137 женщин в шинелях. Ценой двадцати растерзанных девчонок и жизни четырёх инструкторов-мужчин батальону удалось уйти лесами, а потом расходиться по домам мелкими группами. Некоторые из них перебрались на Дон и приняли участие в борьбе с большевизмом в рядах белого движения. Самой последней из существовавших ударных частей стал 3-й Кубанский женский батальон, расквартированный в Екатеринодаре.

Прощай, фронт!

После расформирования батальона Бочкарёва приехала в Петроград, где вместе с другими офицерами была арестована по подозрению в участии в так называемом «корниловском мятеже» и заключена в Петропавловскую крепость. Большевики отняли у неё документы и наградное оружие, но спустя некоторое время освободили её из-под стражи. Ей предложили перейти на сторону большевиков и сражаться с белогвардейцами, но она отказалась. В то время кровавый террор ещё только начинался, и Бочкарёву выпустили.

Она решила поехать домой, в Сибирь. Села в поезд и поехала в Томск, но её узнавали солдаты, кричали, что она – «корниловка», и грозились убить. Около Челябинска Мария была выброшена из вагона и повредила ногу. Домой добралась всё же живой. Дома её ожидали нищета и пьянство. Она и сама стала прикладываться к бутылке, но быстро опомнилась и вернулась в Петроград в начале 1918 года, так как к мирной жизни она уже не могла привыкнуть.

Бесстрашная Яшка

Она ходила в штыковые атаки наравне с мужчинами, проявляла смелость и находчивость в разведке, бесстрашие во время артиллерийских обстрелов. Несколько раз была тяжело ранена, но снова возвращалась в свой полк. Когда погиб ротный командир, Бочкарёва повела солдат в атаку и отбросила врага. «От Николая II мною получено за боевое отличие 4 степени Георгиевских крестов, 3 медали (2 серебряных и 1 золотая) за усердие». За формирование женского батальона смерти она была произведена в прапорщики, позже за боевое отличие – в подпоручики, а за держание боевого участка на фронте была произведена в поручики. Была единственной женщиной, командовавшей боевым соединением, и единственной в русской истории женщиной-кавалером четырёх Георгиевских крестов.

У Марии был необыкновенно преданный ангел-хранитель, он берёт её во всех смертельных ситуациях. И замерзала в окопе, и



вдыхала отравляющие газы, и была пять раз ранена, и даже ранена тяжело (в позвоночник) – заново училась ходить. И как офицера большевики могли её расстрелять, но не расстреляли. Сто раз, наверное, была арестована – и освободилась.

После того как Мария наотрез отказалась сотрудничать с новыми властями, её обвинили в сношениях с генералом Корниловым, дело чуть было не дошло до трибунала. Мнения чекистов разделились: один, более образованный, хотел провести расследование, другой хотел самолично её расстрелять, остальные члены комитета занимали нерешительную позицию.

Но, когда расстрел уже должен был состояться, среди комитетчиков оказался солдат, которому Бочкарёва когда-то спасла жизнь: вытащила его, раненого, с нейтральной полосы. Он узнал её среди расстреливаемых, удивился: «Это ты, Яшка?» – и заступился. Фамилию её солдат не знал. Бочкарёву отправили в Москву для расследования. А там среди чекистов тоже нашлись однополчане, после проведения расследования её отпустили, выдав охранную бумагу.

Чаша её жизни совсем чуть-чуть перевесила чашу смерти, когда она ехала на юг к Корнилову. В легенду о том, что она едет в Кисловодск на лечение, не поверили. Её снова арестовывают и вместе с офицерами-мужчинами ставят к стенке. Но Яшка бежит из-под ареста. Когда она ехала домой в Томск, её выкинули из вагона, она упала в снег рядом с рельсами и, к счастью, лишь повредила ногу.

Бывали и забавные происшествия. Например, когда Бочкарёва в солдатской форме явилась в женскую баню – вот визгу-то было! При выписке из госпиталя Бочкарёва успешно прошла военно-медицинскую комиссию. Об этом эпизоде она рассказала так: «На общем построении мобилизованных перед членами комиссии я немедленно разделась по соответствующей команде. «Женщина!» – вырвалось из пары сотен глоток. Члены комиссии буквально онемели от удивления.

– Что за чертовщина?! – вскричал генерал. – Зачем вы разделись?

– Я солдат, ваше превосходительство, и исполняю приказы, – ответила я.

– Ну хорошо, хорошо. Поторопитесь одеться, – последовал приказ.

– А как же осмотр, ваше превосходительство? – поинтересовалась я, надевая свои вещи.

– Всё в порядке. Вы прошли...»

Эпатаж? Нет, просто год на фронте в окружении мужчин заметно притупил её стыдливость. Ещё один пример личной ответственности Яшки за то, что происходит вокруг неё. Тридцать девчонок её батальона не выдержали условий войны. По её воспоминаниям, «пятеро из них получили контузии и были истеричными или сумасшедшими, многие же другие страдали нервными расстройствами». У этих женщин не было ни родственников, ни дома. Этих девушек Мария взяла с собой в Сибирь. В Америке, помимо денег на интервенцию, она просила денег и на их содержание.

...Когда Мария появилась в союзническом штабе, американские и британские офицеры, вспоминая о тех встречах, отзывались о ней нелестно: она курила «пачками сигареты», жевала табак, докучала, показывая всем свои шрамы от ранений, и напивалась «не меньше мужика». В предисловии к русскому изданию книги «Яшка», составленной по воспоминаниям самой Бочкарёвой, зафиксировано восприятие Марии иностранными офицерами: «Её широкое безобразное рябое лицо и коренастая фигура выдавали восточное происхождение» (Бочкарёва М. Яшка: Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. М., 2001).

Стрелять в своих...

Большевистские лидеры предложили ей сотрудничество с новой властью, но Бочкарёва отказалась. «Я боевого дела во время Гражданской войны не принимаю», – так сказала она в Смольном, где её убеждали, что она должна встать на защиту власти трудящихся. «Вы приведёте Россию не к счастью, а к гибели», – заявила она вождям советской власти. Её отпустили с документами и билетом до Томска. Ленин даже принёс ей извинения за арест.

Она, сибирячка, хотела помочь Колчаку и тем поддержать белое движение за сохранность России. Но адмирал, верховный правитель, чем-то разочаровал её. Возможно, Мария Леонтьевна инстинктивно чувствовала, что и красные, и белые хотят использовать её авторитет в своей непонятной игре.

«Белые» всё-таки ближе

Из протокола её допроса: «большевиков я считала своими врагами и врагами родины». Следователь записал в протоколе допроса Марии: «Она старается выглядеть как мученица за идеал справедливости, в действительности являясь другом империалистов и капиталистов». Дома, в Томске, она побыла недолго. Её вызывал телеграммой в Петроград генерал Аносов, бывший председатель Георгиевского комитета, причастный к созданию женского батальона смерти. От имени подпольной офицерской организации он просил Бочкарёву выполнить особое поручение: пробраться на юг к генералу Корнилову, который уже сформировал добровольческую армию на Дону, установить с ним связь, выяснить его возможности и планы.

Мария получила документы на имя Александры Смирновой и одежду сестры милосердия. Облачившись в наряд сестры милосердия, она поехала на юг. Как прикрытия она везла с собой письмо от бывшей сослуживицы, княжны Тутаевой, с приглашением отдохнуть и подлечиться на Кавказе. В Новочеркасске она передала Корнилову письма и документы. Совершив опасное путешествие, она передала Корнилову личные наблюдения - сведения о готовящемся наступлении красных. Она ожидала от генерала боевого задания. Корнилов предложил Яшке остаться в его частях, но она отвергла его предложение, объяснив нежеланием стрелять в собственный народ. Генерал Корнилов велел ей с небольшой делегацией отправиться в Англию и Америку, чтобы добиться помощи в борьбе с большевиками. Бочкарёва согласилась.

На обратном пути она была схвачена как шпионка, чудом избежала немедленной казни, была переправлена в Москву. Везде она твердила одно: я, мол, неграмотная крестьянка, солдат германской войны, вся израненная, еду домой на излечение. Наводили справки о ней в Томске, продержали два месяца, потом освободили. После этого Мария вернулась в Томск, взяла с собой сестру – девочку 15 лет, с которой поехала во Владивосток с целью пробраться в Америку. Облачившись снова в наряд сестры милосердия, проехала всю Россию до Владивостока.

Всё-таки Бочкарёва встала на сторону белых. Но решила помочь Белому движению другим путём. Она пробралась через охваченную гражданской войной Россию, чтобы совершить агитационную поездку в США и Англию – просить помощи для борьбы с большевистской властью.

По приезде во Владивосток Мария обратилась к консулу за получением средств для поездки с сестрой в Америку, а после получения их выехала на пароходе в Америку, а из Америки – в Англию, а из Англии – в Архангельск.

3 апреля 1918 года Мария Бочкарёва сошла на берег в порту Сан-Франциско. Её появление в военной форме с крестами и медалями произвело фурор. Для неё открылись двери домов многих высокопоставленных лиц. Она встречалась с министром обороны и госсекретарем США. Здесь же она надиктовала свои воспоминания одному из бывших соотечественников. О ней писали местные газеты. В русской эмигрантской прессе на первых полосах появлялись заметки о ней.

Мария рассказала президенту США о страданиях русского народа и просила помочь России. Президент, рассказывая, был очень растроган и пообещал сделать все возможное. «Когда Вудро Вильсон поинтересовался, кто прав и кто виноват в России, то я ему сказала, что я слишком мало разбираюсь в этом вопросе и боюсь попасть в ложное положение», – вспоминала Мария впоследствии.

Вот протокольная запись: «Бочкарёва начала свой рассказ довольно сухо; внезапно перешла к описанию страданий русского народа, причём языком, подобным скачущей лошади. Она с трудом дожидалась перевода своих слов на английский. Выражение её лица постоянно менялось».

Из США Бочкарёва отправилась в Англию на борту американского военного транспортного корабля и со слезами на глазах разговаривала с американскими солдатами. В Лондоне её принял тогдашний военный министр Уинстон Черчилль, а затем удостоил аудиенции король Георг V. Всех их Мария упрашивала, уговаривала оказать помощь Белой армии деньгами, оружием, продовольствием, и все ей эту помощь обещали. «Король предложил мне сест, сел против меня. Король спросил, к какой партии я принадлежу и кому верю; я сказала, что я ни к какой не принадлежу, а верю только генералу Корнилову. Король мне сказал новость, что Корнилов убит; я сказала королю, что я не знаю, кому теперь верить, и в гражданскую войну я воевать не думаю».

Бочкарёва встречалась не только с президентом США и королём Великобритании, она также надиктовала свои мемуары американскому журналисту Исааку Левину (эмигрировавшему из Одессы). Мемуары вышли в свет под названием «Яшка».

Яшка вернулась в Россию, в Архангельск, на борту американского транспортного судна с оружием и боеприпасами. Север России был под властью Временного правительства. Там стоял и англо-американский экспедиционный корпус Антанты, готовый выступить против Советов.

Яшка вновь выступила с инициативой организации женского батальона. Когда она явилась к командующему Архангельским фронтом генералу Мурашевскому, тот предложил ей сформировать здесь маленькую боевую добровольческую ячейку, но не женскую, а мужскую. Яшка ответила, что боевого дела во время гражданской войны не принимает. Генерал велел её арестовать, но её адъютант поручик Филиппов тут же переговорил с английским генералом, и тот сказал, чтобы Марию не арестовывали.

В июле 1919 года Северным правительством была снаряжена морская экспедиция в Карское море. Генерал-губернатор приказал предоставить Бочкарёвой бесплатный проезд на пароходе до Оби и выдать денежные средства. Из Архангельска курсом на восток вышел караван судов. В трюмах кораблей – оружие, боеприпасы и амуниция для колчаковских войск. На одном из кораблей – Мария Бочкарева. Её цель – Омск, её последняя надежда – адмирал Колчак.

Но когда, не достигнув Тобольска, экспедиция прибыла в город Берёзов, то пришла телеграмма, что Тобольск взят советскими войсками. Тогда половина экспедиции направилась в Красноярск, а другая половина – в Томск. Мария поплыла со второй половиной экспедиции на Томск. В дороге она пробыла три недели. Уже при подходе к Томску экспедиция встретила с кораблём, на борту которого находился британский офицер, знавший Марию с 1917 года. В его воспоминаниях сохранились строки об этой встрече: «Фактическим руководителем русской экспедиции был военно-морской офицер Котельников, прибывший сюда раньше нас... С ним была известная Яшка Бочкарёва – полная энергичная женщина, организатор Женского батальона смерти, в отличие от остальных сохранившая в себе прекрасное настроение и бодрость духа, готовая на любую работу». 19 октября экспедиция прибыла в Томск. Но родители Марии были в бедственном положении. Жить было не на что. Прожив дома одну неделю, Мария выехала в Омск.

С Колчаком

Приехав в Омск, Яшка явилась к дежурному генералу, у которого стала просить отставку и пенсию как командир батальона. Тот доложил о ней Колчаку. 10 ноября в Омске в белокаменном дворце, что на берегу Иртыша, состоялась ее встреча с Верховным правителем России. Адмирал произвёл на Бочкарёву сильное впечатление, она поверила в силы Колчака, как в своё время верила только Корнилову.

«Я вошла в кабинет Колчака и там увидела: Колчак вёл разговор с генералом Голицыным – главнокомандующим добровольческими отрядами. Когда я вошла, то Колчак и Голицын оба встали и приветствовали меня и сказали, что обо мне много слышали и предложили сесть. Колчак стал мне говорить: Вы просите отставку, но такие люди, как Вы, сейчас необходимо нужны. Я Вам поручаю сформировать добровольческий женский санитарный отряд... Он говорил, что у нас много тифозных и раненых, а рук, которые бы ухаживали за больными, – нет. Я надеюсь, что Вы это сделаете. Я предложение Колчака приняла».

Эту работу Мария вела всего пять дней до эвакуации Омска. 11 ноября уже были расклеены по всему Омску афиши с извещением, что приехала известная организаторша добровольческих отрядов поручик Бочкарева из Архангельска и что она будет сегодня в театре «Гигант» выступать с призывом к женщинам, чтобы формировать женский добровольческий санитарный отряд. Мария сама за эти дни наклеила объявлений несметное количество по всем заборам «сибирской столицы».

Но она прибыла к Колчаку слишком поздно: белогвардейский фронт трещал и катился на восток. Вскоре Колчак под ударами Красной Армии покинул столицу «белой Сибири».

Страшным было разочарование Яшки, когда она узнала, что при быстром отступлении Колчак бросил на путях эшелоны с ранеными, большинство из которых погибло. Рассказ Марии на допросе: «Я верила в Колчака и в его правоту, а поэтому не осталась в советской

России. Позже я во всём разубедилась и решила бросить всю службу, и считала, что глубоко ошибалась. Я окончательно разочаровалась в Колчаке и дала слово, что больше ничего не буду делать в пользу белых»; «На станции Болотной стоял поезд Колчака и Сахарова, я пошла в этот поезд, но меня ни Колчак, ни Сахаров не приняли, и я поехала на станцию Тайга, где добивалась вновь увидеть Колчака и выяснить своё положение. Но я Колчака не видела, а Сахарова на станции встретила. Он мне сказал, что ему сейчас не до меня, и сказал, что-бы я ехала куда приказано, но я поехала в Томск».

Мария не ушла с отступающими войсками, вернулась в Томск. Но слишком одиозна была ее слава. Люди, принимавшие гораздо менее активное участие в Белом движении, расплачивались за это своими жизнями. Что уж говорить о Бочкарёвой, имя которой неоднократно мелькало на страницах газет.

В Томске Мария явилась в городскую комендатуру на регистрацию, сдала револьвер и выразила готовность служить народу. Комендант отказался от услуг Бочкарёвой и взял с неё подписку о невыезде. Но через несколько дней, в рождественскую ночь 1920 года, в храме во время праздничной службы Бочкарева была взята под стражу чекистами и посажена в тюрьму. В томской тюрьме она заболела тифом. Разбирательство затянулось на 4 месяца. Следственное дело Марии Леонтьевны Бочкарёвой сохранилось архиве Управления ФСБ по Омской области.

Сохранилось заявление-донос её сокамерницы: «...Заключённая в тюрьме Бочкарёва передавала письма на свободу посредством надзирательницы... и притом же Бочкарёва говорит – умру за Колчака». В заключении к окончательному протоколу её допроса от 5 апреля 1920 года следователь отмечал, что «преступная деятельность Бочкарёвой перед РСФСР следствием доказана... Бочкарёву как непримиримого и злейшего врага рабоче-крестьянской республики полагаю передать в распоряжение начальника особого отдела ВЧК 5-й армии». Это означало – расстрел.

Возможно, Мария стала жертвой своего тщеславия: приехав из Архангельска в Томск, она дала интервью местной газете, в котором рассказала о секретной поездке к Корнилову, о своей зарубежной миссии. Одного этого материала было достаточно, чтобы вынести обвинение. А были и другие свидетельства. Особый отдел 5-й Армии вынес постановление: «Для большей информации дело, вместе с личностью обвиняемой, направить в Особый отдел ВЧК в г. Москву». Постановлением ВЦИК и СНК смертная казнь в РСФСР была отменена. И всё же чаша весов её жизни качнулась в сторону смерти.

В Сибирь прибыл заместитель начальника Особого отдела ВЧК Павлуновский, наделённый Дзержинским чрезвычайными полномочиями. Представитель Москвы написал краткую резолюцию: «Бочкарёву Марию Леонтьевну – расстрелять». На обложке уголовного дела была сделана приписка: «Исполнено пост. 16 мая». Так, в возрасте 31 года погибла эта замечательная женщина-патриот.

9 января 1992 года в соответствии с законом РСФСР от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» Мария Бочкарёва реабилитирована. Через 70 с лишним лет после вынесения приговора.

Ныне на малой родине Марии Бочкаревой, в Томске, краеведы выражают справедливое мнение о необходимости увековечить память замечательной землячки. Получит ли это предложение поддержку властей?

Очередное счастливое спасение?

Итак, Мария Бочкарёва была реабилитирована. Но в заключении прокуратуры России о реабилитации сказано, что свидетельств её расстрела не имеется. И, судя по тому, что последние листы дела перенумерованы, в нём находился документ (не отражённый в описи), что Марию расстреляли. Абсолютной уверенности в том, что приговор был приведён в исполнение, сегодня нет. По одним данным М.Л. Бочкарёва была расстреляна, по другим её следы затерялись.

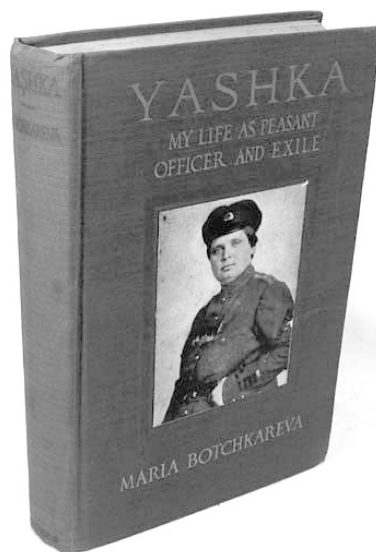
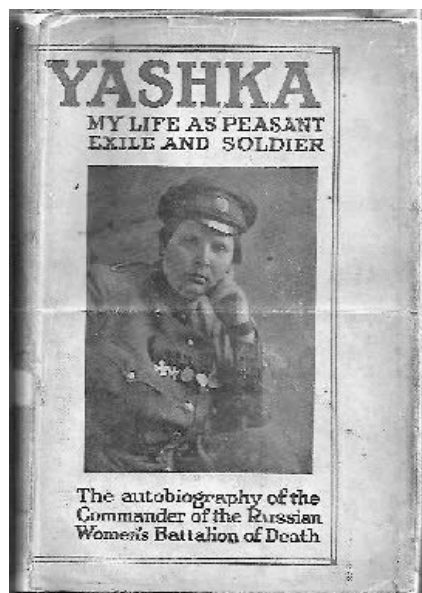
Первым, кто записал рассказ о превратностях жизненных коллизий Бочкаревой, был Исаак Дон Левин (1892-1958). Книга заканчивается воспоминаниями Марии по пути в Соединённые Штаты летом 1918 года. А историк Сергей Дроков пишет: «Я имею право гордиться тем, что являюсь биографом русской Жанны Д'Арк – организатора женского батальона смерти Марии Леонтьевны Бочкарёвой, этой женщины-героя. Вся дальнейшая её биография до 1920 г. ... воссоздана мною». Предположение Дрокова: Мария, якобы, бежала в Хар-

бин, город, ставший столицей восточной русской эмиграции. Там она вышла замуж за однополчанина и сменила фамилию.

Бочкарёва будто бы проживала на КВЖД, пока не разделила участь русских семей, которых насильственно депортировали в советскую Россию. Или всё же расстреляна в 20-м году? Как бы то ни было, новая власть предала её имя забвению.

Иваны, родство помнящие ...

Мария была малограмотной, но рассказывать умела живописно, с многочисленными подробностями. Её 100-часовой рассказ журналист превратил в текст увлекательной книги, изданной на английском языке в 1919 году. Книга вышла одновременно в Нью-Йорке и Лондоне и была переведена на несколько языков. Эту книгу читали Вудро Вильсон, Теодор Рузвельт, Троцкий, Уинстон Черчилль, король Англии Георг V, Долорес Ибаррури и многие другие политические деятели. У нас же «Яшка» долгие годы лежал в спецхранах библиотек.



В Петербурге снимается фильм о Бочкаревой и ударницах Батальона смерти. Выход фильма «Батальон смерти» планируется в 2014 году. Картина рассказывает о подвиге отряда женщин, созданного в Санкт-Петербурге по приказу Временного правительства для поднятия боевого духа армии. Бочкарёва стояла, выражаясь языком справочников, у истоков женского военного движения в России.

По страницам печати до сих пор кочуют утверждения, что во главе своего батальона она обороняла Зимний дворец. Наконец, совсем удивительно звучат заявления, что на самом деле Марии удалось каким-то чудом избежать расстрела, найти свою новую любовь, а умерла она, оказывается, только после Второй мировой войны. Как тут не вспомнить многочисленные «свидетельства» о спасении семьи Николая III!

Да, у войны не женское лицо. Эта истина не требует особых объяснений. Однако в истории России был уникальный случай, когда в лицо смерти на поле брани смотрели именно женщины. В боевых действиях участвовал только 1-й Петроградский батальон Бочкарёвой.

История этой жуткой войны знакомит нас и с легендарной женщиной, которую европейцы называли русской Жанной д'Арк. Эта женщина-легенда заслуживает памятника на её малой родине.

**Галина Колосова-Мошкина,
член Союза журналистов РФ**

Геннадий Залесов

П.И. МАКУШИНУ – 170 ЛЕТ

*Через ушедших людей, их дела и дни
мы убеждаемся, что прошлое не ушло*
Г.С. Батеньков

В июне в Томске отметили 170-летие со дня рождения Петра Ивановича Макушина. Правда, не так, как 150– и 160-летия. Тогда, как помнят многие томичи, проведены были солидные мероприятия, был образован Фонд Макушина, открыт Музей, учреждены и вручались премии его имени. Альманах «Сибирская старина» в 1994 году был полностью посвящён юбилею, выпущен каталог открыток, издаваемых типографией П.И. Макушина...

Ныне только областная библиотека по инициативе О.Г. Никиенко отметила круглую дату проведением «круглого стола» в своём Пушкинском зале (см. сайт областной библиотеки). Как-то не верилось, что такое оказалось возможным в Томске в Год культуры.

Бренд Пётр Макушин

Имя Петра Ивановича Макушина живёт в Томске уже более, чем он сам жил. Имя Пётр Макушин может служить городу своеобразным брендом, не менее привлекательным, чем мифологический старец Фёдор Кузьмич... Один книжный магазин, даже сегодня, чего стоит! Вывеска – крупно, в стилистике модерн – имя; внутри – выставка с увеличенными копиями документов, воссозданием интерьера того первого, знаменитого в Сибири.

А венец его деяний у Белого озера – Дом науки! Здание, не потерявшее до сих пор в новомодных строениях. Не случайно оно – памятник архитектуры федерального значения. На фасаде высоко – символ Солнца с расходящимися лучами света, а под этим рельефным рисунком – его имя. И уникальнейшее в городе место – могила Макушина. Редчайшее решение для советской власти Томска. Одно дело – малый некрополь погибшим за новую власть. И совсем другое – персонально купцу. Он сам до своей кончины заполучил и оплатил место у своего храма – Дома науки. Как верно и мудро кем-то сказано: «Памятники – это восклицательные знаки истории».

В трёх научных учреждениях Томска хранятся архивы этого деятеля. В областном краеведческом музее, кроме переданного лично Макушиным, его бумаги и личные вещи, а также скульптурный и живописный портреты...

Память о нём жива не только в Томске. Флагман книговедения в Сибири Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, её отдел книговедения организуют регулярные (раз в три года) Макушинские чтения, которые привлекают учёных, библиотечных работников, преподавателей, книговедов и книголюбов. Макушинские чтения вышли далеко за рамки Сибири и включают не только историческую тематику, но широкий круг современных книговедческих проблем, на их основе создана сибирская научная школа книговедения, изучается региональная книжная культура. Исследователи обращаются в том числе и к наследию П.И. Макушина, открывают новые грани его деятельности и личности. На основе привлечения широкого круга открытых доку-

ментальных источников многое уточняется, оценки становятся более аргументированными и более объективными.

Редкий дар

Родившийся в 1844 году (сельцо Путино Пермской губернии) в бедной семье дьячка, Пётр рано познал крестьянский труд и проявил прекрасные способности к учению. Интересна его образовательная линия. Не окончившего Пермскую духовную семинарию, его, по праву блестящего ученика, посылают поступить в Петербургскую духовную академию, в которой он также не завершает обучения. Проучившись в ней не менее блестяще, будучи уже на выпускном курсе, добровольно по предложению представителя Синода Академию покинул, желая, как он сам сказал, «теоретическое изучение христианства заменить практическим служением ему». Позже П.И. Макушин официально нигде не обучался, но вошёл вскоре, как бы сейчас сказали, в элитную часть интеллигентной публики Томска, губернии и Сибири. Он на профессиональном уровне самостоятельно овладел книготорговым, издательским, библиотечным делами. Это уникальное явление характерно для редкого числа людей, обладающих даром самообразования. Макушин им не только обладал, но постоянно и целенаправленно развивал. После успешной работы в алтайской миссии с 1868 года Макушин стал гражданином Томска, будучи избранным смотрителем Томского духовного училища.

Уже в начале жизненного пути ярки и необычны его умственные, интеллектуальные дарования, а также эмоционально-рациональный порыв окунуться в сибирскую глубинку к инородцам вместо благополучного места в городе. Последнее выдаёт в нём и предпринимательские задатки, и честолюбивые наклонности.

Купеческий размах и образ Просветителя

В 1873 году Макушин оставляет службу и начинает заниматься книготорговлей. Приобретённые ранее навыки работы с книгой в библиотеках Перми, Петербурга, понимание значения книг для просвещения народа подвигают его к приобретению качеств и умений нелёгкого дела предпринимательства вначале вместе с купцом В.В. Михайловым. Собственная смекалка, образованность, личная организованность, вхождение в круг купцов, изучение их опыта плюс собственный помогают ему зарекомендовать себя как успешного и уважаемого гражданина. Его избирают гласным городской думы, где он создал и возглавил училищную комиссию, которая оказала заметное влияние на состояние народного образования. Позже опять совместно с В.В. Михайловым организует первую частную типографию. Затекает и начинает выпускать частные газеты. Деятельность П.И. Макушина разнообразна, он старается охватить весь сибирский регион. Его при жизни называли «ревнителем света» (Г. Крекнин), книжным Ермаком (И. Сютин), «выдающимся работником просвещения» (нарком просвещения А.В. Луначарский).

Приход советской власти лишил его всех и немалых состояний, с чем он вынужденно и обиженно смирился. Но обращался к властям вплоть до А.В. Луначарского и предлагал более рационально использовать бывшие его здания и капиталы. Его известность и опыт в мире издательства советская власть взяла на вооружение, предложив ему должность заведующего торговым отделом Сибгосиздата, где он, как сам писал, «оказался снова на своём излюбленном деле...».

Оценка дана, требуется оценка

Деятельность П.И. Макушина и его личность получали противоположные оценки и при его жизни, и позже. Среди современников и исследователей до конца не выяснены многие вопросы, и, в частности, на мой взгляд, что было для него целью, а что средством: предпринимательство или просветительство? Не полностью изучено его непосредственно купеческое дело, эскизно намечено его мировосприятие. Ждут публикации его биографические записи и ряд документов. Однако в последние годы внимание учёных к деятельности и бытию Просветителя усилено. Приятно отметить лепту ряда томских исследователей, и особо В.П. Бойко, Н.М. Дмитриенко, Т.В. Жиляковой, Т.П. Карташовой, Г.И. Колосовой, Е.А. Макаровой, О.Г. Никиенко и др. В их работах открыты и уточнены отдельные факты жизни, объёмнее с интересными выводами представлены стороны его деятельности. При этом почти все изучающие Макушина не обходились без упоминания и использования книги Т.В. Сталевой

«Сибирский просветитель Пётр Макушин». Книжка вышла тремя изданиями (в Томске 1986, 1990 и в Москве 2001). Московский литератор Т.В. Сталева использовала не только литературу о нём и его архив, который хранил внук, московский архитектор П.И. Скокан, но и архивохранилища Томска, а также нашла и установила связи с внуками и правнуками Петра Ивановича. Книга Сталевой – редкий случай, когда кому-то из томских купцов были посвящены три издания документальной повести.

Изучение наследия и личности П.И. Макушина продолжается. Впереди, вслед за документальной повестью литератора, будем надеяться, появится и серьёзная научная монография, в которой будет дана всесторонняя, объективная, основанная не только на юбилейных источниках, оценка купца, общественного деятеля и просветителя.

А почему бы не так?

Участники «круглого стола» недоумевали, куда девался разрекламированный когда-то Фонд Макушина? Где его материалы? С удовлетворением восприняли факт ремонта Дома науки, организованный с помощью спонсора руководством театра «Скоморох». Однако пристало ли учреждению культуры, находящемуся в таком именном помещении, предавать забвению это имя? А произошло так, что имевшийся в нём Музей П.И. Макушина исчез. Оказался не к месту и бронзовый бюст Макушина, подаренный жительницей США О. Поповой-Мюллер городу Томску в 1912 году и располагавшийся в одном из уютных мест в Доме.

Любопытную ситуацию поведал в своей публикации 2001 года известный томский краевед и сотрудник областной библиотеки Э.К. Майданюк, рассказав о звонке из Парижа. Спрашивали о судьбе бронзового бюста Макушина... Долго искали, обнаружили в краеведческом музее. А на «круглом столе» из сообщения работника краеведческого музея Е.А. Андреевой стало известно, что там в запасниках хранятся кроме бюста ещё два живописных портрета П.И. Макушина! Пришла мысль: а не следует ли из запасников их извлечь?

Родилось предложение – изучить возможность передачи во временное хранение бюста в Дом науки им. П.И. Макушина, восстановив, таким образом, историческую память. А живописный портрет работы томской художницы Л.П. Базановой (также оформив документально) установить в областной библиотеке. И это также будет весьма уместно, ибо именно Томская областная научная универсальная библиотека им. А.С. Пушкина стала преемницей всех библиотек Макушина, а это около 4 тысяч томов.

Участники «круглого стола», посвящённого 170-летию П.И. Макушина, выразили готовность регулярно посвящать деятелю российского масштаба свои встречи, которые продолжат юбилейный год Макушина и предшествуют десятым юбилейным Макушинским чтениям.

О.Г. Никиенко, куратор Пушкинского кабинета, на сайте ТОУНБ очень проникновенно поведала о завершении нашего «круглого стола» в честь 170-летия Просветителя. Хочу её последними фразами закончить данную публикацию: «Наш вечер завершился у могилы П.И.Макушина, которая находится в ограде Дома науки (сегодня там театр «Скоморох»). Лампа, символ просвещения, не горела, было тихо и печально. Два скромных наших букета немного оживили место последнего пристанища выдающегося сына России».

**Борис Владимирович
БЫЛИН**

Родился в 1949 году в посёлке Канаскино Каргасокского района Томской области. Служил в армии. Окончил экономический факультет Томского университета. Работал на кафедре политэкономии ТГУ. В 90-е годы был фермером.

Публиковал статьи в ежегодниках «Тоталитаризм и тоталитарное сознание» Комиссии по правам человека в Томской области.

Живёт в Томске.

Милан ВУКОВИЧ

Современный сербский поэт и драматург. Главные книги: сборник лирики «Псалмы из Роговацкой церкви» и «Немой порог». Широко известен у себя на родине переводами русской классической поэзии. В 2002-м в его переводах на сербский вышел сборник Сергея Есенина под названием «Русская боль».

**Евгений Анатольевич
ВЯЗАНЦЕВ**

Родился в 1948 году в Новоалтайске Алтайского края. Окончил историко-филологический факультет Томского университета.

Автор семи книг лирики, поэм, стихотворений в прозе и афоризмов. Переводы стихов издавались в Сербии и Черногории в различных журналах и антологиях. Две поэтические книги вышли в Сербии на сербском языке.

Лауреат премии «Золотое перо России» в серебряной номинации.

Живёт в Барнауле.

**Геннадий Михайлович
ЗАЛЕСОВ**

Родился 6.12.1936 году в г. Владимире. Окончил историко-филологический факультет ТГУ в 1961 году. Работал на севере Томской области, в Томске и Новосибирске. Кандидат исторических наук, доцент. Ныне пенсионер. Публикации в научно-учебных изданиях, областных газетах. Очерки: в журнале «Новосибирск», 2007 г. № 2(15) «Она учреждала Союз архитекторов России»; в газете Сибирского федерального округа «Сибирь. Момент истины»: 6.12. 2013 «Сибирский писатель в Германии». 18.12. 2013 г. «История одной картины».

**Дмитрий Александрович
ИВАНОВ**

Родился в 1961 году в Томске. В 1984 году окончил отделение журналистики филфака ТГУ. Публикации в томской газетной и журнальной периодике. Рассказ «Весы» напечатан в альманахе «Фантастика» (Москва). В журнале «Начало века» печатается с 2009 года.

Живёт в Томске.

**Алексей Леонидович
КАЗАКОВ**

Родился 29 июля 1949 года в г. Челябинске. Журналист, член СЖ РСФСР (1991), член СП России (2003), литературовед, издатель, лауреат областной премии в области литературы и искусства, член Общества любителей российской словесности, член Международной академии авторских научных открытий и изобретений (1998). В 1978 окончил отделение критики Литературного института им. А.М. Горького, в 1986 – аспирантуру Института мировой литературы им. А.М. Горького. В 1994 создал при Челябинском фонде культуры литературно-издательскую артель «Алексей Казаков со товарищи».

**Юрий Михайлович
КАНУРИН**

Родился в 1947 году в Болотном Новосибирской области. Окончил физический факультет Томского университета. Работал в научно-производственных объединениях города. Рассказы печатались в «Начале века». Живёт в Томске.

**Леонид Васильевич
КИРЧИК**

Родился 16 апреля 1948 года на разъезде 79-й километр Топкинского района Кемеровской области. Окончил экономический факультет Томского университета. Работал каменщиком в строительном управлении, начальником бюро руководящих кадров на Юргинском машзаводе, два года служил в армии командиром отдельного стрелкового взвода.

Автор трёх книг прозы: «По полям, по перелескам», «За порогом дома», «Брызги».

Живёт в Юрге.

**Николай Анатольевич
КОНИНИН**

Родился в 1953 году в пос. Эльдикан (Якутия) в семье топографа и библиотекарши. Жил и работал в Якутске и Ленске. С 1999 года живёт в Томске. Стихи печатались в коллективных сборниках томских литобъединений. В 2012 году издал книжку стихотворений «Давай нарисуюем».

**Анастасия Николаевна
КОШЕЧКО (Антохина)**

Родилась в 1978 году в г. Тюмени. В 1995-м окончила Юргинский городской лицей, а в 2000-м – филологический факультет Томского государственного университета. В настоящее время – кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Томского государственного педагогического университета.

Стихи А. Антохиной опубликованы в альманахе «После 12», сборниках «Семиветрие», «Ниоткуда с любовью», журнале «Начало века».

**Наталья Ивановна
ЛАПТЕВА (Краснослободцева)**

Родилась, выросла и окончила школу в селе Моряковский Затон Томского района. После окончания физико-математического факультета Томского педагогического института вернулась в родное село преподавателем. Много лет проработала в коррекционной школе-интернате. С 2011 года на заслуженном отдыхе.

Есть своя страничка в Интернете.

**Александр Николаевич
ЛУГОВСКОЙ**

Родился в 1970 году в г. Колпашево. Окончил Томский государственный педагогический университет. Работал учителем, журналистом. Сейчас – главный редактор газеты «Советский Север». Автор книг стихов «На росстани», «Тихий парад», «Созвучье души», «Очертания счастья».

Член Союза писателей России. Живёт в г. Колпашево.

**Сергей Григорьевич
МАКСИМОВ**

Родился в Кемеровской области. Окончил Кемеровский институт культуры. Поэт и прозаик, автор и исполнитель своих песен. Публикации во многих журналах России. Автор историко-приключенческих романов. Живёт в Томске.

Член Союза писателей России.

**Александр Иванович
ПАНОВ**

Родился в 1956 году. Окончил Томский государственный педагогический университет. Работал учителем. Сейчас трудится в сфере повышения квалификации работников образования Томской области. Автор многих книг, стихов.

Член Союза писателей России.

**Николай Александрович
ТОЛСТИКОВ**

Родился в 1958 году. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького, работал в газетах.

Принял духовный сан, ныне – священнослужитель храма святителя Николая во Владычной слободе Вологды. Публиковался в российских и зарубежных журналах «Крещатик», «Новый Берег», «Чайка», «Русский дом», «Наша улица», «Север», «Лад», «Южная звезда», «Сибирские огни», «Вологодская литература», «Северная Аврора», «Наше поколение», «Венский литератор», альманахах «Литрос», «Братина» и «Невский альманах». Автор 4 книг прозы, вышедших в Вологде и Москве.

Член Союза писателей России.

**Леонид Николаевич
ШЕЛУДЬКО**

Родился 16 декабря 1952 года в г. Чите. Окончил Томский политехнический институт. Публикации в литературных журналах «Простор», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Начало века» и других. Стихи вошли в ряд коллективных сборников и Антологию русской сибирской поэзии. XX век. Автор книг стихов «Дорога через осень», «Бумажный голубь», «Рыжий». Живёт в Томске.

Член союза писателей России.

**Ирина Михайловна
ЯБЛОКОВА**

Выпускница филологического факультета ТГУ. Член Союза журналистов. Автор десятков сценариев телевизионных передач и фильмов, нескольких стихотворных циклов. Автор около 200 текстов песен, свыше 15 пьес и 4 прозаических книг для детей. В данный момент работает зам. директора по маркетингу Северского Театра для детей и юношества.

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал
Издание томских писателей

Главные редакторы

Г. Скарлыгин

В. Крюков

Вёрстка журнала

О. Карташов

Корректор

Е. Юзефович

Редакция журнала принимает к рассмотрению первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо набранные на компьютере через полтора интервала (12–14 кегль), желательно с приложением набранного текста в любом формате на любом цифровом носителе.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Учредитель: Томское региональное отделение Союза писателей России.

Адрес редакции: г. Томск, ул. Шишкова, 10.

Адрес издателя: г. Томск, ул. Шишкова, 10.

Адрес учредителя: г. Томск, ул. Шишкова, 10.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС121331 от 21 марта 2007 года.
Выдано управлением Росохранкультуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

© Составление и оформление: «Начало века», 2014 г.

Формат 70X108 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2. Тираж 2000 экз.

Дата выхода журнала 20.10.2014. Цена свободная.

Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания»,
г. Томск, ул. Пушкина, 40/1

